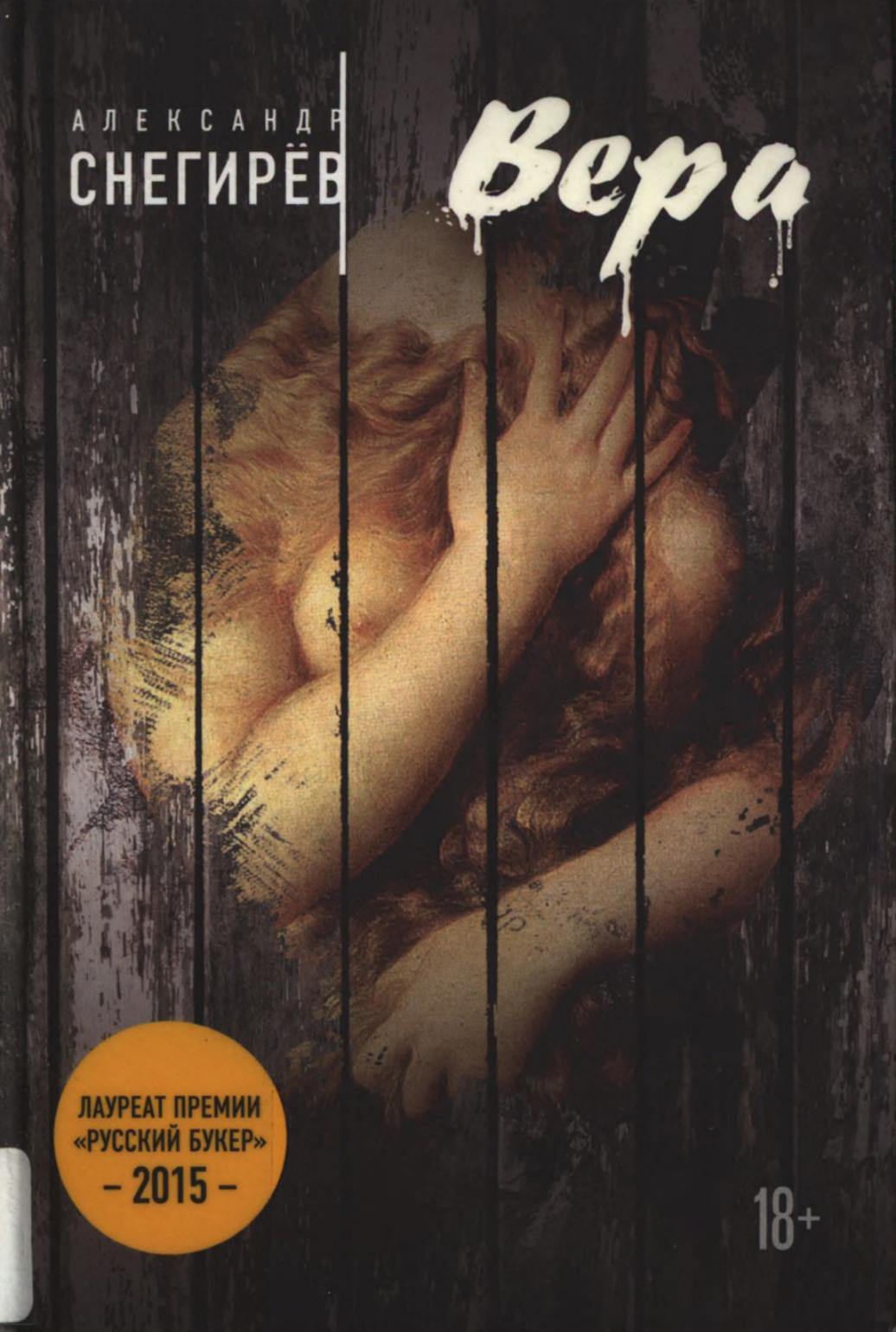


АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЁВ

Вера



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«РУССКИЙ БУКЕР»
— 2015 —

18+

АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЁВ

Вера



Москва
2016

Художественное оформление серии
П. Петрова

Снегирёв, Александр.

С53 Вера / Александр Снегирёв. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 288 с. – (Александр Снегирёв: Проза о любви и боли).

ISBN 978-5-699-81666-8

В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-метафора А. Снегирёва ставит перед нами актуальные вопросы.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-81666-8

© Снегирёв А., текст, 2015
© Оформление. ООО «Издательство
«Э», 2016



Все началось в декабре одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года, когда Верин дед прочитал в «Правде» стихотворение Сулеймана Стальского и решил назвать первенца в честь великого лезгинского поэта.

Катерина, в те дни уже его законная, замуж не хотела. Бегала топиться, но бабка выудила и отконвоировала под венец. Мужик дурковатый, зато с избой.

Дело происходило в одной западной русской области, в деревне Ягодка, которая сегодня переживает возрождение. Дома отстроены заново с применением современных материалов, в русле актуальных санитарно-бытовых потребностей. Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в этой местности не было

никогда: ни при барине, ни при колхозе, ни даже при немцах.

Коряги древних яблонь кое-где еще торчат из газонов, точно старухи, приглядывающие за детками — новыми жителями. Газоны пока несовершенны: или чересчур плоски, или, напротив, изрыты кротами, однако появление в Ягодке этой садовой прихоти столь необычно, что изъяны бросятся в глаза лишь недоброжелателю.

В конце деревни, ближе к лесу — утыканный кувшинками пруд. С одного края пруда церковь, с другого — пустырь. При внимательном изучении снимков со спутника пустырь обнаруживает правильные геометрические очертания — это фундамент барского жилого строения, сгоревшего когда-то по халатности мародерствующих.

Но в спутниковые фотографии никто не всматривается, и новые обитатели Ягодки бывают очень удивлены, когда при сносе очередного сарая под горами незамысловатого инвентаря обнаруживают то резную, в форме звериной лапы, мебельную ножку, то осколки изящного фарфора, то заплесневелый обрывок живописного холста.

В начале самой страшной войны в истории человечества нелюбимого мужа Катерины призвали. Однако не прошло и месяца, как он, дезертировав из госпиталя при отступлении, вернулся на костыле в еще не занятую неприятелем Ягодку. Катерина не успела понять, рада она вновь обретенному супругу или не очень, как услышала тарахтение моторов улыбчивой мотопехоты пятьдесят седьмого корпуса четвертой танковой армии, входящей в группу «Центр». Председателя при всем народе повесили, а хромой папаша трехлетнего Сулеймана, последний оставшийся в деревне дееспособный мужчина, сопротивления не оказал и был назначен старостой.

Немцы были веселые, угощали шоколадом. Потом настроение у них заметно испортилось,

но это потом, а в начале жизнь в Ягодке сделалась яснее. Новые власти поощряли за послушание, наказывали за самодеятельность. Связисты повсюду размотали разноцветные провода, наладили телефонную связь между зданием бывшего сельсовета, сохранившим административные функции, обустроенным в церкви госпиталем и городом. Развесили вывески и согнали баб сровнять бугры на единственной улице, переименованной из «Ленина» в «Кайзер штрассе».

Самая страшная война в истории человечества быстро ушла на восток и напоминала о себе, пожалуй, только непрерывно работающим госпиталем, куда вскоре стали поступать бедаолаги из-под Москвы, пострадавшие больше от непригодных климатических условий, чем от огня защитников столицы.

Сулик был типичным ребенком, росшим в оккупации: не тяготился, но ждал своих. А еще ему очень понравилась упорядоченность германского быта. С тех пор он упорядочивал все вокруг и делал это до тех пор, пока вера навсегда не ушла из его жизни.

Прочие жители испытывали нечто подобное — помощи новым хозяевам не оказывали, но и сопротивления тоже. Молодежь, наверное бы, рыпалась, но молодежи не было — пар-

ней мобилизовали в Красную армию, девки сплошь были малолетние, бабы помалкивали, а старики принимали все, как есть. Одна Лукерья, чьих сыновей-кулаков безвозвратно арестовала советская власть, Лукерья, которая тянула на себе внучку Зинку, не стеснялась проявлять позицию — крестила закатные небеса, когда воздушные армии запада прокладывали золотые лыжни в сторону востока.

За два с лишним года службы врагу муж Катерины ничего антинародного на своем посту не предпринял. Родилась дочка. Назвали без выкрутасов Раечкой, может, потому, что «Правда» в те годы была недоступна. Точнее, «Правда» распространялась, но поддельная, с Гитлером на развороте. Такой «Правде» староста не доверял, понимая — она не надолго. Только однажды староста остутился — осенью сорок второго пленили партизан и настояли, чтобы он подписался под расстрельным листом.

И он свои корявые букочки вывел.

Тогда мальчишки подсмотрели, и Сулик был среди них.

И он увидел, как люди превращаются в тела.

В скоропортящиеся отходы.

Увидел, как легко это происходит.

А больше ничего отец не совершил. Он вообще был тихий. Еще молодым, когда церковь разоряли, он к батюшке подступил и пожарным багром слегка пихнул в брюхо. Мол, помогай, борода. И в зубы двинул для аргумента. Батюшка сначала привередничал, а потом вдруг покорился и, отплевываясь красным, будто брусничных пирогов наелся, схватил багор и стал тыкать в росписи, дырявить разукрашенную штукатурку. Вскочив на алтарь, он вонзал острие в иконы и драл их крюком. Он опрокинул канун с остатками свечей и оборвал лампы. Он шуровал с такой отчаянной яростью, так страшно бранился, что вызвал у активистов оторопь и даже испуг, и тогда принудитель его не без труда багор отобрал. С открытой брезгливостью к погромщику и с затаенной к себе. Батюшку вскоре навсегда увезли компетентные товарищи, а будущий отец Сулика после того раза утих. В партию вступать не стал, хоть и выдвигали, увлекся чтением и женился.

Его не оскорбляло, что остановившийся у них на постой германский офицер-фотолюбитель к Катерине благоволит. Танцевать зовет под патефон и без всякого пренебрежения славянский стан обнимает.

На карточках, найденных годом позже в ранце этого самого, к тому времени уже бездыханного, фотографа, есть и ее изображения. Босая, недоверчивый взгляд из-под косынки. Запечатлена за подобающим занятием — ворошит сено.

Болтали про них, а про кого не болтают.

А может, и не зря болтали.

У Катерины даже бумажка, припечатанная страшным круговым крестом, одну ночь хранилась. Фотолюбитель оформил дарственную, вручил Ягодку ей и потомкам. И рукой повел, будто всю Россию отписал.

Наутро Катерина бумажку сожгла.

Вступление освободительного войска осуществилось не только без боя, но и вообще без какого-либо присутствия противника. Большею частью сжатые, поля кое-где еще колосились, хвоя зеленела, пыльная листва сначала пожухла, потом стала опадать. Солнце не светило ярче, погода не бунтовала.

Ягодка одинаково отдавалась каждому новому, не делая различия между пьющими ее воду, мнущими ее траву, оставляющими следы в ее пыли.

Въедливые оперативники, напротив, оказались настроены не столь философически и сразу принялись вычесывать изменников. Со-

седи в своей народной массе помалкивали, но кто-то выдал.

Четырнадцать заяв, круглыми женскими буквами писанных, следователь принял.

Это на семнадцать дворов.

Один сожженный партизанский, в другом безымянная слепая бабушка, в третьем старостино семейство.

Двое светлых юношей в синих фуражках пришли, когда Суликов папаша валенки подшивал.

Только ремень велели скинуть.

И похромал тихий староста, будущий Верин дед, на далекие лесозаготовки.



Скоро маленькая Раечка померла от того же, от чего половина шестой армии фельдмаршала Паулюса.

Дизентерия.

Голодали сильно.

Братья Катерины, ступив на боевой путь в самом начале, дошли по нему аж до Валгаллы, которую, небось, у немчуры и оттяпали.

Соседи стали мать с сыном дразнить фашистами. Сулик начал киснуть, замкнулся, сжег

дареный фотолюбителем противогаз, фляжку бросил в реку, но она не утонула, а поплыла, как не тонуло, выныривало его одиночество, как не тонула тяга к порядку и разноцветным проводам.

Будучи мальчиком отверженным, он в редкие минуты деревенского досуга бродил по разгромленным, пахнущим медикаментами помещениям церкви-госпиталя, неподалеку от которой, рядом со старым кладбищем, из земли выступали холмики умерших от ран. Сначала в них были натканы аккуратные крестики, но их пожгли. И остались одни холмики, которые быстро зарастали.

Скоро пошел слух, что в гробах сокровища.

И стар и млад принялись холмики потрошить и косточки просеивать.

И нашли.

Сашка перстенок содрал вместе с ошметками и на внутренней стороне надпись разобрал – Edvin und Linda.

В райцентре сказали «серебро» и три буханки дали.

Сергевна сапоги почти неношеные с подгнивших конечностей стащила.

А Колька нашел наградной кортик, которым пощекотал Олежку.

Не до смерти, конечно.

Сулика отгоняли, кидали комьями. Ему доставались только объедки этого археологического пиршества — без всякой надежды он осматривал гробы уже вскрытые.

Однажды внимание привлек разъехавшийся, недоукомплектованный скелет. Из четырех положенных конечностей он имел лишь одну — левую руку.

Пнув со злости, от скуки и просто забавы ради эти жалкие останки, Сулик увидел в серой трухе лицевых тканей блеск.

И упал коршуном.

Не тронутый санитаром, по невероятной случайности пропущенный односельчанами, пасть мертвеца озарял золотой, задний нижний зуб, именуемый дантистами моляр.

Сулик вышиб находку доской, спрятал в гильзу, запечатал глиной и, не сообщив матери, зарыл под задним венцом.

С тех пор каждый раз, когда представлялась возможность, он раскапывал жевательную принадлежность из драгмета и не мог насмотреться на мятый, льющийся, тяжеленький блеск.



Когда сообщили, что Первый Председатель Совета министров скончался, Катерина велела Сулику надеть на себя все, что потеплее, и двигать за ней в сторону Колонного зала Дома союзов.

Шли не торопясь, заночевали у стрелочницы и всего успели преодолеть километров тридцать, когда их настигло известие — бальзамирование завершилось, тело выложено в Мавзолее.

Облегченно вздохнув, Катерина повернула обратно.

В Ягодке самоволку оценили. Одна только Катерина проявила рвение такой силы, осмелилась без разрешения покинуть колхоз и отправиться пешком проститься с любимым вождем. Измену Родине и смутные отношения с врагом не забыли, но злобное шипение потухло, лай превратился в тьяканье.

По исполнению Сулику четырнадцати Катерина свезла его в интернат.

Вверила государству в связи с недостатком корма.

Они и в самом деле недоедали, но не это подтолкнуло Катерину к решительному шагу.

Она знала — после армии паспорт Сулика вернут в колхоз, что гарантирует ему неоплачиваемую занятость до конца дней, а интерна-товским документы выдают на руки. Сулик сможет пойти на завод, поступить на вечерний, и Советский Союз распахнет перед ним все свои безграничные возможности.

Катерина была патриоткой, но сыну желала добра.

Годы в интернате пролетели, и Сулика отправили служить на Камчатку, на радиолокационную станцию.

Аэродром — укатанное снежное поле, рота рядовых, офицеры и техники. Двухметровый забор заносило с горкой, и представители коренных народов Севера на собачьих упряжках срезали через территорию.

Когда советская ракета сбила американский самолет-разведчик, начальник занервничал.

Полковник, прошедший самую страшную войну, не был паникером, но бескрайние снега, белые бури и три типа блюд из кеты, которыми в произвольной последовательности кормил повар, растормошили его фантазию.

Услышав о пленении летчика, полковник на некоторое время заперся у себя, а потом

собрал весь личный состав на взлетно-посадочном снегу.

Был май, припекало так, что, кинув поверх сугробов полушубок, можно было закрыть глаза и представить Сочи. Но полковнику было не до солнечных ванн, он выступил с краткой речью.

Международная обстановка накалилась до предела. После потери самолета американцы обязательно нанесут ответный удар.

А по кому наносить, как не по нам?

От Аляски рукой подать.

Не сегодня-завтра всплывет подлодка, благо лед встал, высадят десант и..

Тут полковник добавил, что получил секретные сведения.

Сведения и вправду были получены. И не как-нибудь, а по самому секретному из всех возможных каналов — голос Верховного Главнокомандующего, уже семь лет почивающего в Мавзолее, заговорил прямо в голове полковника. Прежде такого не случалось, и ветеран решил прислушаться.

Усиленные патрули, составившие один большой хоровод, днем и ночью кружили вокруг нескольких построек станции. Отраженное от снега солнце нещадно слепило даже

сквозь темные очки, многие получили ожоги лица.

Не дождавшись десанта, полковник через неделю отменил осадное положение и сник, а вскоре был отозван и сменен другим, точно таким же, только женатым.



Неподалеку от станции располагался поселок сезонных женщин-работниц. Поселок состоял из жилого барака, цеха и магазина с неизменным армянским коньяком в ассортименте. Там произошел второй за годы Суликовой службы инцидент.

Продавщица держала курицу, а при бараке обитала кошка. Продуктовый вопрос перед кошкой не стоял, курица же требовала зерна, доставляемого с Большой земли. Неясно, что подтолкнуло кошку к преступлению. Видимо, недостаток и скука, когда чего-то хочется, а чего — не знаешь. Хочется прыгать и размахивать, промчаться голой под громкую музыку в открытом экипаже, лизнуть на морозе железаку и не прилипнуть.

Обнаружив эти вполне человеческие, декадентские свойства, кошка украла курицу.

Продавщица сначала подумала на медведя, потом на приходящего майора.

Осознать несостоятельность этих гипотез ей помогли сладко жмурящиеся глаза и усы в перьях.

Продавщица схватила несчастное существо и принялась трясти.

Сулик находился поблизости, было свободное время, он дышал свежим воздухом.

Сулик видел, как продавщица, перехватив воровку за хвост, стала колотить ею об угол барака, обитого для защиты от ветра распрямыми консервными банками, которых, как и рыбы, было в избытке.

Сулик даже научился резать из распрямленных консервных банок профили.

Очень похоже выходило.

В казарме над каждой койкой к стенке крепился исполненный им силуэт невесты. Новый полковник тоже повесил на видное место свое и супруги жестяные изображения на манер знаменитых профилей герцога Урбинского и Баттисты Сфорца. Любой профиль неприятно напоминал полковнику фотографии из следственного дела, но супруга настоящая, и он уважил.

Ослепленный сверкающей жестяной чешуей, Сулик разом вспомнил курносые, носатые,

лобастые, кадыкастые жестянки. Он видел — несчастную воровку умертвил первый удар. Продащица молотила измочаленным лоскутком и никак не могла остановиться.

Вскоре в клубе произошел погром. Неизвестный изорвал бумажные шахматные доски и, что самое крамольное и вместе с тем удивительное, вручную располовинил толстые журналы политинформации.

Многие дивились не столько поступку таинственного психопата, сколько его физической силе. Разорвать журнал плотной бумаги способен не каждый атлет, а проделать это подряд с целой полкой и вовсе невозможно.

Под видом силовых соревнований пытались провернуть следственный эксперимент, выявить злоумышленника, а то и целый заговор. Кто разорвет пачку бумаги, тот и злодей. Однако простодушный план провалился.



Тем временем Катерина писала Сулику, что отец год как вернулся из Пермского края и устроился в колхозе плотником.

Коллаборационизм ему не забывают, но мужиков-то нет, вот и взяли.

Отец тяжелый стал.

Раньше «Правду» читал, а теперь ничего не читает. Не попивает особо, но трудно с ним.

Демобилизовавшийся Сулик продал грузину на трех вокзалах бидон красной зернистой, приобрел матери пальто с цигейкой и поехал в Ягодку.

Пришел ночью, задами, чтобы не тревожить собак.

Шарик оказался еще живехонек: поднялся, звякая цепью, тьякнул и заскулил.

Чиркая спичками, Сулик нашел место у заднего венца и раскопал.

Вытряхнул из гильзы на ладонь, опустил в карман и уже собрался уходить, когда его окликнули.

Накренившаяся хромая фигура. Висящие вдоль корпуса руки.

— Здравствуй, Сулейман. Закурить есть?

Интернатовское отрочество и три года службы так и не приучили Сулика к табаку.

— Не курю, — ответил он, зная, что за такой ответ получают даже от родителя.

Они постояли, а затем сорокапятилетний старик повернулся к сыну спиной и поковылял в сторону крыльца.

Сулик смотрел вслед, но отца не видел, а видел что-то смутное и неопределенное.

Зрение ему вернул скрип затворившейся двери.

Очнувшись, он положил на крыльцо сверток с пальто, накрыл корытом, чтоб Шарик не разворошил, и поторопился в сторону шоссе, пока местные не оторвали тяжелые головы от набитых соломой тюфяков.



Сулик сунулся в несколько высших учебных заведений, но ни в одно принят не был.

Год работал подмастерьем на производстве. На следующих вступительных повезло. Утаив от анкеты деятельность отца в годы самой страшной войны в истории, Сулик поступил на химфак.

Увлечся электролизом, разноцветных проводов оказалось предостаточно. Его заворачивало, как под воздействием электричества тот или иной металл покрывает предмет.

Цинк ложится на сталь, медь на гипс, золото послушно окутывает любую форму.

Из затюканного деревенского мальчика Сулик превращался в видного молодого человека приятной славянской наружности, что в те года уже становилось редкостью.

Матери писал к праздничным датам, отцу вовсе не писал.

Приобрел вкус к элегантному быту, на танцах познакомился с обладательницей пропорционального лица в обрамлении роскошных волос. Смотрела она желтыми, ярко очерченными глазами. Целовалась тонкими, но страстными губами, которые вкупе с заметным подбородком выдавали волевые свойства натуры. Короткое платье обхватывало скульптурный бюст и вполне изящные бедра. Каблуки возносили ее макушку к его носу.

Она оказалась старше Сулика на три с половиной года и жила с жалующейся на слепоту матерью, военной вдовой, в двух комнатах коммунальной квартиры в одном из кривых центральных переулков.

Стеснительностью подруга нашего героя не отличалась — после второго свидания в ка-

фетерии пригласила терзаемого дерзкими помышлениями тихоню к себе.

Мать, носившая имя Эстер, временно обрела зрение, и весьма острое.

Разглядев Сулика, крадущегося в одних черных сатиновых трусах из комнаты ее единственной, мимо буфета из массива ценной породы, прямоком в санузел, Эстер учинила скандал.

Отшвырнув влюбленного, она ворвалась к дочери, однако тут же была бесцеремонно выпровожена.

В самый разгар схватки мимо по коридору прошаркала с кастрюлькой обитательница третьей комнаты коммунального жилища.

Старушка-доходяга нрав молодой соседки не осуждала, не замечая вокруг себя ничего, кроме ежедневной пищи. Это свойство она, по слухам, приобрела в пору давнего и навечного ареста сына — врага народа.



Любовная связь долго не продлилась и была прервана по инициативе прелестницы.

Молода, хороша собой, она хотела просто жить.

Если с первыми двумя фактами Сулик был целиком согласен, то третий принять не мог. «Просто жить» означало частые, порой совершенно непредсказуемые связи с мужчинами, многие из которых могли бы сверкать в коллекциях самых знаменитых любителейниц этого дела.

Рыночные торговцы, руководящие работники, студенты Консерватории имени Петра Ильича Чайковского и даже дворник ближайшего детсада составляли эклектичный любовный список Суликовой избранницы.

Если бы она взимала плату, то разбогатела бы не хуже народной артистки, однако, будучи натурой увлеченной, барыша не извлекала.

Столкнувшись с фактами, Сулик возмутился, затем неожиданно для себя расплакался, из глаз полило, как будто на мотоцикле без очков, и ушел, что называется, в сторону, оставив Эстер наедине с темпераментом единственной ненаглядной.

Учение Сулик закончил с отличием.

Его распределили на столичное предприятие, выделили комнату в общежитии, записали в поликлинику, положили оклад.

В Ягодку он не ездил. На похоронах отца отсутствовал, работа не пустила.

Мать навевалась редко, стеснялась своих калош и платка, надолго не задерживалась.

Когда задор первых трудовых лет в лаборатории, полной реактивов, стеклянных емкостей и разноцветных проводов, прошел... Когда первые грамоты за трудовые успехи перестали греть честолюбие и были сложены в папку с другими рутинными бумагами... Когда самому Сулику стало ясно, что великим ученым он не рожден... Именно в те дни подступающего разочарования и случился в его жизни интересный поворот.

Гуляя в один из майских выходных по опустевшим мостовым, Сулик встретил ту самую, из кривого переулка.

Спросила — как дела?

Ответил — хорошо.

Не женился?

А она замужем.

Сообщив о своем семейном статусе, скорчила знакомую гримаску, означающую мимолетность и ее нынешнего брака, и вообще всего.

Кстати, не поможет ли он ей перевезти небольшой гардероб? Двустворчатый. Подруга разрешила забрать, здесь рядом, у нее и транспорт есть.

И она кокетливо продемонстрировала двухколесную тележку для продуктовых покупок.

Засомневавшись, что тележка увезет на себе шкаф, Сулик, однако, согласился, и вот они уже стояли близко друг к другу на темной площадке третьего этажа незнакомого дома, и она, хихикая, никак не могла попасть ключом в скважину. Он предложил помощь, она отказалась, и между ними завязалась милая кутерьма, которая, впрочем, не помешала проникнуть в квартиру.

Его немного удивила неопрятность проживающей здесь девушки, которая так любезно решила отдать подруге шкаф. Постель была разобрана и даже на расстоянии поражала несвежестью, кухонный стол украшала переполненная пепельница, края умывальника были в брызгах засохшей мыльной пены с темной щетиной. Окончательная ясность наступила, когда Сулик увидел, как его деятельная подруга выгребает на пол содержимое гардероба — сплошь брюки, галстуки и пиджаки.

Попадались и платья, одно Сулик вспомнил. Платья она запихивала в сумку.

Сборы происходили стремительно, и спустя минуту он двигал опустошенный предмет мебели к выходу.

Когда половина шкафа оказалась за порогом, а Сулик, находясь в квартире, выталкивал из нее вторую, послышался шум лифта — и голоса, ее и незнакомый мужской.

Не будем приводить здесь словесный сумбур, который случается между рассорившимися супругами, когда один из них, а точнее, она, тайно съезжает с квартиры, похищая при этом шкаф. Заметим лишь, что Сулик немного разволновался. Он не был нюней, но и наглецом его тоже никак нельзя было назвать, а ситуация сложилась деликатная. Сулик попробовал было дернуть шкаф обратно в тесный коридорчик, освободить себе выход и объясниться с невидимым противником, но она громогласно запретила это делать. Напротив, потребовала продолжить вынос. Тогда Сулик толкнул шкаф вон из квартиры, но встретил сопротивление хозяина, который, видимо, уперся плечом с противоположной стороны.

Неизвестно, сколько бы продолжалось противостояние, если бы не сообразительность затеявшей авантюру красотки. Отчетливо выговаривая слова, с верной долей дрожи в голосе, не слишком громко и не шепотом, она сообщила мужу, что беременна. И отец ребенка не он, а тот, который зажат теперь в коридорчике и может там умереть, так и не увидев своего сына или дочь.

Удивительное действие оказывают на мужчин эти женские выдумки. Какие бы умные и хитрые мужчины ни были, слезы, беременность и прочее подобное, пусть не существующее, а лишь упомянутое, отменяет любые аргументы разума. А если польстить мужчине, намекнуть на его благородство и к этому благородству легонько подтолкнуть, то самые, казалось бы, невероятные мечты претворяются в жизнь.

На недолгое время воцарилась тишина, которую нарушил ее деликатный призыв.

— Двигай, — сказала она голосом даже немного жертвенным, и Сулик подчинился.

У окна лестничного пролета, живописно облокотившись о перила, стоял импозантный брюнет в импортном кожаном пиджаке. Сра-

зу было ясно: брюнет считает себя красивым мужчиной — и совершенно, надо заметить, заслуженно. Большое гладко выбритое лицо походило на лица с античных монет из музея. Густые итальянские волосы блестели. Сигарета, крепко сидевшая между крупными пальцами, то и дело отправлялась в брезгливо надувшиеся красные губы.

Сулик кивнул.

Курящий отвернулся.

Шкаф вдруг сделался тяжелее, стал цепляться за неровности пола и никак не хотел помещаться в то и дело захлопывающемся лифте.

Сулик потел, испытывая стыд и унижение, но одновременно ощущал себя победителем. Торопясь вниз по лестнице вслед за унесшим груз лифтом, он с каждой ступенью наполнялся уверенностью, что все сложится. И ее рука, которой она, бегущая рядом, сжимала его руку, ее смех эту уверенность укрепляли.

Вопреки его опасениям, шкаф устойчиво встал на тележку. Сгорбившись под ним, Сулик покатил прочь и не увидел, как она в последний раз посмотрела на окно лестничного пролета, от которого в этот момент отвернул-

ся выпустивший последнее облачко монетный брюнет.

И вот Сулик, ставший за несколько лет куда меньшим идеалистом и теперь вступивший в права, уже не крался, а вальяжно шагал по коридору вовсе без всяких трусов, как шагают мужчины, знающие себе цену.

В полумраке гранями резьбы по-прежнему мерцал буфет, старушка-соседка не показывалась, Эстер молча поворачивала ему вслед выкрашенный хной череп. Годы брали свое, и если ее слепые глаза оставались по-прежнему зоркими, то силы были не те.

Новая страсть разгорелась не на шутку. Ее брак в отличие от беременности оказался вполне реальным и потребовал расторжения, которое и было незамедлительно осуществлено. И вскоре в законном статусе в квартиру в кривом переулке заселился Сулик.

На свадьбе приехавшая накануне Катерина, с зачесанной назад сединой, в тесных, только купленных в ГУМе туфлях, сидела прямо, ничего не пила, не ела и на следующий день отбыла восвояси.

Даже в Третьяковку не сходила.

А что ей с офицерской вдовой обсуждать — у той траурная подушечка вся в его орденах, а у нее от мужа только ложка деревянная лагерьная.

Когда Сулик сообщил, что женится, она одобрила.

Когда узнала, что на полукровке, сказала, что он уже взрослый и вправе жениться хоть на кошке. Лишь бы по любви.

Самый ценный подарок новобрачным преподнесла соседка — померла.

Резвость ума молодой жены позволила оперативно подать заявление, и скоро в квартире в кривом переулке отмечали вступление в права на третью, освободившуюся комнату.



Эстер в отличие от своей решительной и дальновидной библейской тезки просуществовала жизнь без умысла и расчета, едва поспевая за эпохой.

Девочкой, когда бойцы одной из множества армий гражданской войны суетливо прикончили ее родителей, она спряталась в чан, в котором ее отец-сапожник варил деготь.

Во времена коллективизации в составе студенческих агитбригад призывала вступать в колхозы, желая земледельцам и животноводам лучшей жизни.

Ни до, ни после она столько не ела — сеяныне задабривали агитаторов, чуя, что все равно пропадет. Наутро студенты покидали населенные пункты, и, оборачиваясь, она видела, как следом идут армейские отряды, чтобы окончательно закрепить обобществление имущества.

Слыша удаляющийся гвалт, она убеждала себя, что все правильно, что она сама отдала бы стране и муку, и кур, и корову.

Если бы могла.

Но у нее ничего, кроме светленького платья, не было.

Вскоре встретила на танцах молодого военного. Он ее в столовую пригласил, а кость потом ничейной собаке отдал. И она за него пошла.

Прилепилась.

Дочку родила.

А он стал подниматься по освобожденной репрессиями карьерной лестнице.

Не разоблачал, в исполнение не приводил, просто с рабоче-крестьянским происхождением повезло и нервы крепкие.

Туркменистан, Халхин-Гол, в сентябре тридцать девятого оперативно встали на защиту интересов жителей восточной Польши.

Окрыленный доверчивостью сдавшихся поляков и легко доставшимся королевским городом, он однажды разомлел после ужина и сболтнул.

Мол, впереди такое – учебники истории позавидуют.

Еще годика два-три, и мы рванем.

Ширину нового танка аккурат под европейские дороги подгадали. Гитлер-то дурак, дорог настроил. Недели не пройдет, как мы на Париж наши семидесятишестимиллиметровые наведем. Доставим мировую революцию в буржуйско-фашистское логово.

А поняв, что лишнее брякнул, схватил ее за немного поношенное зеленое платье, которое сам подарил, когда сюда перевели, аж шов под мышкой треснул.

Попробуй только растрепать.

Оба пойдем.

И она.

И в малышку спящую ткнул.

Эти разговоры прекратились двадцать второго числа первого летнего месяца — жен и детей военных едва успели на Урал вывезти. Гитлер, может, и дурак, но мужа Эстер опередил. Через полтора месяца после вторжения немцы загнали остатки их части в болото.

Они держали какой-то пункт, пока боекомплекты не иссякли, потом он, старший по званию из выживших, принял решение.

А карт нет.

Вот и увязли.

Немцы орудия навели, а ответить нечем.

И он выбрался из люка и неловко спрыгнул на мох.

Минувшей весной Эстер затащила его в театр во Львове, актеры громко кричали фразы, принимали позы и делали лица, и когда она в антракте спросила, как ему, он смутился, сказал, неудобно.

И она посмеялась. Мол, завидуешь, что не ты на сцене, не тебе цветущие охапки бросают.

И вот пришел его черед оказаться в центре внимания — животные обитатели леса тарасились из зарослей, три неполных экипажа

и его механик глядели в спину, а фашистские оккупанты сквозь смотровые прорези — в лоб.

Последние годы он каждый день ждал будущее, а за эти полтора месяца устал ждать. Он рванул будущее к себе, прижал, как тогда Эстер, и стал гнуть будущее под себя.

Он не щурил глаза, не закуривал и не сплевывал, как пристало перед подвигом. Он не хотел повышать голос, уже догадавшись, что война вроде того театра — большая пошлость, и тихо, одними губами, сказал «ура».

И загреб перчаткой, обернувшись.

Будто деток за собой звал.

Мол, покажу кое-чего.

Разминая комбинезонные ноги, он пошел в сторону дрожащих в дизельном мареве германских коробок. И подчиненные, которые сначала решили, что молодой трухнул и собрался руки в гору сделать, прониклись его абсурдным задором, повылезали из машин и пошли за ним — если уж умирать, то не от холодных пуль, а от теплых, пускай вражеских рук.

Немцы хотели сработать из пулеметов, но их командир приказал отставить.

Германского командира захватило. Несвойственный его народу авантюризм, лю-

бопытство, скука, которая приходит неотвратимо, если половину лета вместо отпуска дырявишь спины варваров.

Он прятал от подчиненных карту страны, в которую они сунулись. Не хотел, чтобы они видели, сколь ничтожны стрелочки их победных маршей по сравнению с общими размерами тела, которым они пытаются овладеть. Он знал, у них уже появился страх, вызванный необъятностью окружающего пространства. Он хотел вернуть подчиненным осязание жизни и смерти, и этот русский годился в подельники.

И подданный панцерваффе взял на себя риск, дал команду, и его люди нетерпеливо повыпрыгивали из родных и постылых железных чрев.

Муж Эстер быстро, не целясь, выпустил все пистолетные заряды, не оставив себе последний, и жал еще на спусковой, издавая губами «бдыщь-бдыщь». Через годы он увидел, как чужие дети, играя, делают точно так же, и очень удивился, откуда дети узнали.

Он бежал вперед, бурча под нос горячие, самые главные, какие знал, слова. Нецензурные названия женских и мужских половых органов. Нецензурные названия любовного

соития и гулящей женщины. Вспомнил смешное слово «курошуп», которым мать обзывала бабников. Вспомнил и засмеялся.

Он упал и увидел галочки прошлогодней хвои, изогнутые, как ноги вихлястых танцоров. Увидел исчерченный линиями палый лист. Вспомнил, как Эстер водила пальцем по его ладони, сулила счастье и свершения. Он развернул к себе ладонь, сличил с листом и вскочил на ноги.

В те первые месяцы он еще не научился убивать, действовал устрашающе, но неловко, хорохорился, но торопился скрыться, чтобы избавить и себя, и противника от смерти.

Они были обычными, не героями, которыми позже их объявили потомки, раздавленные жутким величием той войны. Впрочем, один герой все-таки нашелся. Застенчивый башнер. Он тогда подумал, что было бы здорово, если бы его увидела Зойка-соседка или даже сам товарищ главнокомандующий. И башнер действовал с некоторым пижонством, будто позируя несуществующему художнику, и продолжал мечтать даже после того, как неприятельское лезвие навсегда нарушило работу одного из его жизненно важных органов.

А муж Эстер и еще четверо сбежали, продрались, скрылись.

Их не преследовали, победители осматривали трофейные механизмы, а командир, которому так и не удалось сцепиться с предводителем красных, сочинял рапорт.

Да и к чему гоняться за столь незначительной добычей, не преследует же рыбак выскользнувшую из рук мелюзгу.

Не преследует, потому что знает, там, на дне, она не отлежится, не наберет вес, не отрастит клыки, чтобы потом выбраться на берег и разодранной его крючком пастью пожрать и его самого, и его семейство, и дом.

Предполагал ли азартный германец, что необычный противник умрет на больничной койке спустя годы, а его собственный танкер уже в ноябре остановит снаряд. Всего в десятке километров от едва бьющегося, но недостижимого сердца географической туши, которую он себе на погибель растормошил.

А по Европе муж Эстер все-таки прокатился. Париж повидать не пришлось, зато Германию рогом Первого Украинского фронта он хорошенько боднул.

Поначалу он любил свою механическую мощь. Любил давить гусеницами, бабахать ору-

дием, дробить пулеметом, добивать из личного «вальтера». Любил разрушать, превращать человеческое обратно в природу. А ближе к занавесу, когда ему наперерез бежали дети с фаустпатронами, его, краснолицего, уже не принимало. Разве что один полдень запомнился. Торопились очень — надо было остатки очередной дивизии с громким названием отсечь, а впереди гора.

Красивые у них там виды — открытка. Справа красиво, слева красиво, а впереди эта самая гора.

А в горе туннель, битком набитый гражданскими.

И куда эти немцы перлись с чемоданами и патефонами.

Хоть бы туннели пошире строили, уж больно практичные. Не стоять же из-за них.

А дивизия та сдалась еще до их прибытия. Зря торопились. Организованная нация, главноком капитуляцию подписал, и все — никакой самодеятельности.

Потом хотелось, конечно, поговорить, обсудить.

А дома бабы одни, а во дворе ветераны, дружки шахматные, у которых у самих на дне такое, лучше не баламутить. И военный пен-

сионер бродил по дворам, собирая с помоек вполне пригодное добро, мебелишку, от которой тогда массово избавлялись жители выселяемых под снос домов.

Только однажды лишнюю рюмку себе позволил и про туннель завел при Эстер.

А она сказала, что вечно он за столом о всяких гадостях начинает, тарелки убрала и фигурное катание по центральному телевидению включила.

А больше он никому не рассказывал.

Даже сестре в больнице, где, прицепленный к поплавку капельницы, доверчиво дожидался последнего призыва.

А Эстер жила, выдумав слепоту.

Насмотрелась, хватит.

Еще бы от звуков избавиться.

И память обнулить.

Не надо было тогда на деревни оборачиваться, да что уж теперь.

Смотри, слушай, запоминай и живи.

Со временем покойный супруг стал наносить ей визиты, и она впервые за годы брака и вдовства вела с ним долгие разговоры, скрывая, впрочем, эти встречи от дочери и участкового врача.



Молодая семья тем временем делала первые шаги на извилистом пути совместной жизни.

Потомством обзаводиться не спешили.

Проявив усидчивость, талант и невесть откуда взявшуюся аппаратную ловкость, Сулик вступил в партию, был обласкан научными и профсоюзными руководителями, планировал защиту докторской. Поговаривали, что если не оступится, то со временем вполне может организацию возглавить.

Теперь уже не Сулик, а Сулейман Федорович обзавелся личным автомобилем, дубленкой, а изъятый у предшественника гардероб наполнился его импортными вещами. Кроме того, у него имелся пускай короткий, но постоянно обновляемый список любовниц.

Успехи кружили голову, и он бесстрашно знакомился в столовых, кафетериях и на международных конференциях.

Тут супруга и забеременела.

На третьем месяце процесс, однако, прервался.

Она настояла, и в поликлинику явились вместе.

Доктор спросил про аборт.

Не моргнув туманным персидским глазом, благоверная Сулеймана Федоровича назвала круглую цифру двадцать.

Доктор постучал по столу самопишущей ручкой, закрыл медицинскую карту пациентки и посоветовал не оставлять попыток.

Сулейман Федорович понял, что не знает о своей жене ничего.

Знает имя, тело, с биографией вроде знаком. Характер ее был ему известен и в целом предсказуем, но эти двадцать абортотворений перечеркнули все.

Весь его собственно нажитый и полученный в приданое налаженный быт с машиной, дубленкой, масляной живописью на стенах, буфетом в коридоре и Эстер в комнате осыпался от одного только слова «двадцать».

Это все до меня? Или уже при мне? Или при мне только десять? Она что, мне изменяла?! — удивился Сулейман.

Осознание женой неверности ударило так же ярко, ослепило на миг, как когда-то ослепил блеск германского зуба, как блеск жести на углу барака.

И все в Сулеймане прекратилось.

Обеденный перерыв, которым они оба воспользовались для визита к врачу, закончился.

Она вернулась на службу, он пошел домой.

Пройдя мимо двери тещи, за которой та, как обычно, вела разговор с невидимым собеседником, Сулейман взялся за дело.

Все у нее подсчитано.

Сколько, с кем.

Наверняка письма хранит, записочки.

А чего он хотел? Будто не ясно было, с кем связывается.

Сначала он вынимал и складывал аккуратно, потом принялся бросать как попало.

Духи, блузки, чулки кружевные, лифчик розовый игривый с прозрачными чашечками.

Так это он сам ей купил по случаю.

Разворошив шкафы, рассыпав на кухне крупу, скинув с полок книги, разбушевавшийся Сулейман ничего бросающего тень не обнаружил. Только Эстер напугал — она, приняв происходящее за давний обыск, погубивший родителей, принялась издавать истошные звуки.

Когда ключ жены повернулся в замке, муж сидел на полу, обхватив голову руками, не зная, куда деться от воя старухи.

— Что здесь происходит? — поинтересовалась вошедшая голосом психиатра.

— С кем? — спросил Сулейман, непоправимо страдая от ее подлинного, выдержанного в бочке семи лет семейной жизни спокойствия и собственного, бултыхающегося внутри, бешенства.

Один с работы.

На вечере у Ларисы с ее знакомым.

Игорь из твоей лаборатории.

В санатории с двумя военными...

Она охотно загибала перчаточные фаланги, заведя по-детски глаза к потолку. Коричневая кожа поскрипывала.

— А ребенка я сама убрала. Чтобы тебя не обманывать. Чтобы ты чужого не растил.

В ее недрогнувшем голосе, в спокойствии не было гнева, мстительности, истерики, от нее исходило пережитое, продуманное, и это Сулеймана изничтожало.

— Ты, сука! — крикнул он патетически, осознавая нелепость и своих слов, и своей злобы, и всего себя целиком.

Она стянула перчатки, похлопала ими о ладонь и сказала, что сама наведет порядок, а он пусть котлеты ставит — ужинать пора.

И пока Сулейман, погрузившись в полузабытье, переворачивал подгорающие мясные комки, пока хрустел тапками по рассыпанной гречке, пока она собирала с паркета шерсть, шелк и крепдешин, с ним случилось не озарение, нет, но что-то на него снизошло.

Что часто снисходит на людей, ищущих и живых, когда возраст катится к сорока.

Сулейман Федорович понял — он неправильно живет жизнь.

На следующий день это не покинуло Сулеймана Федоровича, а, напротив, окрепло.

Он стал молчалив, любовниц забросил, на работе сделался рассеян, разноцветные провода и научные достижения больше его не тешили.

Он увидел всю беспорядочную карьерно-стяжательную суету, в которую сам себя вверг, и зрелище это его поразило.

Вскоре, продвигаясь по маршруту работы, он остановился у церкви.

Запах лекарств, прохлады и пустота.

Ступая под разрисованными сводами, от свечницы до соли и обратно, он что-то припоминал и бубнил сам себе.

Хаотично мечущиеся в голове мысли образовали отчетливый узор. Он решил произвести генеральную уборку, расставить все по местам, а в помощники призвал Бога — в отдаленном от центрального района храме Сулейман Федорович принял крещение и обрел имя в честь святителя Василия Кесарийского.

Факт крещения, осуществленного согласно закону по предъявлении паспорта, в скором времени стал известен в первом отделе.

Одно дело здоровый карьеризм и краткосрочные романчики, другое — православный господь.

Тут и папаша-предатель с анкетного дна всплыл.

И новый христианин подвергся гонениям — его исключили из партии, а затем уволили. Впрочем, именно за такую последовательность этих двух карательных мер никто не поручится. Может, сначала уволили, а потом исключили. А вернее, что одновременно.

Могли бы, кстати, из очереди на квартиру вычеркнуть, если бы Сулейман Федорович в таковой состоял.

И тогда он открылся жене.

Не из страха перед неясными перспективами дальнейшей жизни и заработка, хотя и поэтому тоже, а ради возможного для них двоих духовного спасения.

Жена, с которой жил рядом, но как бы на бесконечно далеком расстоянии, бок о бок, но избегая прикосновений, не удивилась. Будучи внимательным наблюдателем, она давно заметила в муже накопление критической массы и выбор его приняла. Да и вообще, она за него в свое время пошла не потому, что шкаф помог приволочь, а потому что предчувствовала — с этим не соскучишься, что-нибудь да выкинет. А еще потому что хрен здоровый.

Преображенный Сулейман принялся подрабатывать: подвозил поздних гуляк, ремонтировал радиоаппаратуру, мог и позолотить, если надо, любой предмет, хоть ложку, хоть браслетик.

Соорудив дома простое устройство, он путем электролиза вполне удовлетворял частные потребности в позолоте.

Жили этим и ее зарплатой, которая, впрочем, скоро прекратилась — она последовала его примеру, приняла крещение и лишилась места.

Освободившееся время она теперь уделяла престарелой матери и домашнему уюту. Строго соблюдала посты, в чем контролировала и мужа. Склонный к хаотичному разговению, он вполне мог налопаться «докторской» прямо перед Сочельником.



В одиночестве новообращенная пара не осталась — многие тогда начинали почитать Евангелие, похаживать в церковь и помаливаться Богу. Тайные кружки обеспечивали досуг. На собраниях читали вслух Писание, смотрели слайды из жизни Спасителя, пели псалмы и обменивались фотографиями семьи последнего императора. В те бедные глянцевыми фотосессиями времена эти благообразные лики вызывали светлое умиление.

Обретенная вера не мешала супругам продолжать попытки, одна из которых завершилась зачатием. Будущей матери шел пятый десяток.

Доктора констатировали благополучное вынашивание, но роды обещали нервные — возраст, а кроме того двойня.

Прогнозы сбылись — во время схваток акушер сообщил покрытой испариной, хрипящей проклятия и молитвы роженице, что обоим спасти не удастся, и предложил выбрать.

Видимо, он испытывал несвойственное волнение и не подумал о нереализуемости своего предложения и некотором даже издевательском его тоне.

Хапая воздух ртом, она передала право выбора ему, и он оставил девочку, хотя вторая тоже была девочка, но она ему не приглянулась, впрочем, он и не вглядывался.

Вернувшись со смены рано утром, акушер выпил не обычную свою рюмку, а все оставшиеся в бутылке полтора граненых, и сын, поднявшийся в школу, его застукал. В конечном счете, он никого не выбирал, просто пуповины перепутались, и сестренка задушила сестренку, а он только извлек трехкилограммовую победительницу утробного противостояния.

Назвали Верой.

После родов мать прежнюю форму так и не обрела.

Не телом, но душой.

С телом все было в порядке, а вот непрошибаемый, казалось, рассудок пошатнулся.

Она винила новорожденную в гибели сестрички, не брала на руки, отказывалась даже видеть, не то что давать прикладываться к одной из своих прелестных грудей.

В роддоме Вера питалась родовитой таджичкой с неправильным положением плода, которую муж привез рожать под присмотром центровых врачей и чья беременность в итоге разрешилась благополучно.

Та молоком исходила и с радостью сцеживала излишки в орущую Верину глотку.

Жена Сулеймана-Василия была твердо уверена — перед ней маленькая убийца, лишившая ее дочери, которая наверняка была бы красивее, ласковее, умнее. Как только не пытался молодой отец убедить ее в несостоятельности претензий, каких только евангельских притч не приводил.

После нескольких лет взвинченной жизни Сулейман-Василий не придумал ничего лучше, как предпринять еще одну попытку.

Новый ребенок должен был избавить жену от душевных страданий, а дочь от несправедливых нападков.

Поистине животная, от праматери Сары доставшаяся фертильность позволила слабо сопротивляющейся супруге зачать года за четыре до полувекового юбилея.

Вере исполнилось пять, и появление у мамы живота волновало.

Мама перестала тиранить.

Мама как бы заснула.

Однажды живот совсем вырос, мама ахнула и сосредоточилась.

А папа забегал.

И стал звонить по телефону.

Потом они уехали, попросив соседку присмотреть за Эстер и Верой.

В ту ночь Вера спала урывками. Задремывала и просыпалась от непривычной духоты.

Отец вернулся рано, Вера вскочила с кровати и выбежала в коридор. Отец выглядел так, будто на него взвалили рояль. В прошлом году на третий этаж привезли старый «беккер», Вера видела, как мужики корячились на лестнице.

Соседка поинтересовалась, хотя и без всяких вопросов было ясно.

Мама отсутствовала до воскресенья, а когда вернулась, лицо ее было размазанным, а живот пропал.

Подружка в детском саду стала расспрашивать.

Вера сказала, что все хорошо.

Как назвали?

Верочкой.

Так не бывает.

Бывает.

Подружка наябедничала воспитательнице. Вера врет.

Вера продолжала настаивать, что новорожденную зовут так же, как и ее, и от нее отстали.

Воспитательница не видела причин сомневаться в словах девочки. Кто их знает, этих религиозных. Вера сама поверила в сестру, переименовала в ее честь куклу.

Детсад располагался во дворе, Вера ходила туда одна. Недели через две, вечером, после смены, когда она, зашнуровав ботиночки, надела пальтишко и, поздоровавшись с умиленными ее самостоятельностью чужими взрослыми, потянула дверь, та вдруг сильно подалась на нее, обнаружив за собой мать, неожиданно решившую встретить дочурку.

Вера хотела было поскорее мать увести, но воспитательница прицепилась с доброжелательными назойливыми расспросами.

Что да как. Поздравляю. Как самочувствие маленькой?

Не поняв сначала и осознав наконец суть подлога, мать принялась хлестать Веру по лицу теми самыми скрипучими коричневыми перчатками. Поволокла ревущую дочь за собой, толкнула дорогой в сугроб и предъявила дома едва живой.

Сулейман-Василий выслушал бессвязные вопли супруги, заглушаемые ревом дочери, и попытался успокоить обеих валерьянкой и словами о прощении и милосердии.

Вскоре пришлось прибегнуть к ежедневному подмешиванию в еду и напитки жены сильного успокоительного, выписанного знакомым врачом из числа тайных христиан.



Вопреки седативному действию препарата те сонные черно-белые времена проходили для Веры бурно.

Если раньше мать винила ее в смерти, едва ли не в убийстве сестры, то теперь вся ее апатия и тоска переработались в невиданную злобу. Вера оказалась не только убийцей, но и больной, неуравновешенной, требующей лечения, мерзавкой и лгуньей.

Осенью, когда она вернулась из Ягодки, где проводила лето под присмотром составившейся Катерины, матери втемяшилось, что дочь выбелила волосы. Сколько бы та ни уверяла, что кудряшки выгорели на солнце, мать не унималась.

Разразился скандал, в котором невольно принял участие и Сулейман-Василий.

Как любой по природе спокойный и выдержанный, он неожиданно проявил себя сумбурным разрушителем — схватил Веру за косички и под назидательное одобрение вконец обезумевшей супруги откромсал под корень.

О своих действиях он тотчас пожалел и позже вспоминал с отвращением. А Вера с того дня стала очень бояться отцовского гнева и вместе с тем, сама того не понимая, нуждалась в нем. Впервые ей явился Бог — беспощадный, иррациональный, настоящий.

Несколько последующих годов, под предлогом спасения малышки от пагубного украшения самой себя, а заодно предупреждая опасность завшиветь, мать перед наступлением лета остригала Веру под ежика.

А волосы продавала на парики.

В такие дни приходила краснощекая жирная баба, сгребала пряди в мешочек и приговаривала:

— Хорошие волосы.

Волосы и в самом деле были хороши. Прямо как у матери, цвета перезревших зерновых, только у той с первыми родами потемнели. Забрала Вера у матери цвет.

В редкие моменты пробуждения инстинкта мать, укладывая Веру спать, рассказывала сказки.

Они имели сюжет весьма произвольный, но обладали одной неотъемлемой деталью — за стенами устроены тайные ходы и целые комнаты, в которых прячутся соглядатаи, днем и ночью они блудут, дурное пресекают, а за добропорядочных граждан вступаются.

В вопросах веры мать проявляла поистине иудейский фанатизм. Октябрятский значок, знак сатаны, носить запрещала. Вступить в

детскую организацию дочери не позволила, но Вера, скопив копеечки, купила себе звездочку и тайно надевала, снося насмешки одноклассников.

Звезду с вьетнамской целебной мази, приобретшей в те годы большую популярность, мать тоже не терпела и соскребала, хоть та была и желтой. Крестообразную решетку слива в ванной выпилила, точнее, заставила мужа выпилить. Чтобы мыльная вода не оскверняла крест.

Сулейман-Василий, напротив, отличался мягкостью нрава и к маниакальному следованию догмам склонен не был. Если Вера уставала стоять службу, вел ее гулять, благо никто не препятствовал — супруга, ссылаясь на духоту, богослужения посещала редко. Это не мешало ей требовать отказа от празднования Нового года. К счастью, удалось найти компромисс — елку ставили к Рождеству, заполучая совершенно бесплатно. Сразу после первого числа Сулейман-Василий с Верой обходили ближайшие помойки, куда самые торопливые отпраздновавшие выносили попользованных, но все еще пригодных лесных красавиц.

Несмотря на столь экстравагантную окружающую атмосферу, Вера росла девочкой бойкой и любознательной. Маленькой любила вскочить на какого-нибудь дядю и требовать катания. Воцерковленные университетские умники, члены художественных союзов, докладчики и священники из далеких углов империи, немногочисленные, сбившиеся в кучу подпольные верующие того времени, воссоединяющиеся на тайных собраниях, не отказывали Вере. Они напяливали ее на свои жирные и тощие шеи и послушно скакали, предусмотрительно огибая люстры, чтобы не снести плафоном прелестную белобрысую головку.

Эта белобрысость подкупала и пленяла. Чернавок вокруг хватало, а вот деток-ангелков становилось все меньше. Веру же тянуло к противоположностям. Негры с головами-одуванами, бровастые грузины, высывающие носы из-за плодоовощных рыночных груд. Эти обязательно преподносили фруктик, и мать, хоть со странностями, всегда брала дочку на рынок, что позволяло отовариться, почти не раскрывая кошелек.

Вера картавила.

Как тебя зовут?

Велочка.

Долго и безуспешно водили к логопеду.

«Л-л-л-л, л-л-л-л», — рычала Вера.

С тех пор во всем русском языке больше всего слов она знала из тех, что содержат рык.

Когда специалист готов был махнуть рукой, Вера, обнаружившая в ходе занятий недетское вовсе упорство, вдруг издала громкое рычание.

Логопед, задремавший было, очнулся и потребовал повторить.

И Вера в самое его дипломированное лицо зарычала и еще долго рычала на все лады, пока не вышло положенное время.

Логопед так рад был этой нежданной уже победе, что позволил себе, впервые за тридцать с лишним лет практики, шалость — подговорил ребенка не рассказывать сразу маме, а вечером устроить обоим родителям сюрприз, громко произнеся за столом:

— Сюрприз!

Вера, однако, и за ужином тайну не раскрыла. Дождавшись, когда родители заснут, пробралась мимо выдавшего вида буфета в их

комнату, прислушалась к дыханию и завопила: «Сюр-р-р-р-пл-л-л-из!»

Супруги вскочили в ужасе и, узнав, что не случилось ничего особенного, кроме того что восемнадцатая буква алфавита наконец покорена, успокоились и даже не очень удивились, чем немного Веру разочаровали.

Она еще долго не могла уснуть, слыша доносящуюся сквозь стенку смутную возню, которую старики на радостях затеяли. Сюрприз взбудоражил инстинкты, и только комочек, нащупанный мужем на левой груди жены, омрачил ночь.

Вскоре подтвердилось, что неумная в чувствах дочь Эстер и танкиста смертна. И года не прошло, как ее похоронили, причем только с одной, а именно с правой, из двух вызывавших некогда многочисленные восторги, округлостей.



Бойкие особы под предлогом помощи по хозяйству стали стремиться в дом овдовевшего Сулеймана-Василия. Помогали с Эстер, подлизывались к Вере.

Он поползновения распознавал и пресекал. Мягко, но безоговорочно. Ссылался на неостывшее тело жены и ее светлую память, которая с каждой новой претенденткой делалась светлее.

Насытившись семейной жизнью вдоволь, он решил посвятить себя дочери и духовному росту.

Замершее благополучие эпохи проломилось под колесом времени, которое быстро прокрутило двух престарелых правителей и стало вертеться все быстрее, перемалывая отдельных людей и целые народы, разрушая государства и планы на отдых.

Устои расшатались, и многие, весьма крамольные еще недавно вещи сделались повседневными и рутинными.

Сулейман-Василий помогал в нескольких церквях по хозяйству, а в одной четырехглавой, запутавшейся в узоре китайгородских переулков, даже прислуживал алтарником.

На добровольной основе он распространял литературу, проявив себя талантливым агитатором. Многие потухшие атеистические сердца запылали жаром веры. А скольких инородцев обратил, скольких сынов Авраа-

ма и Якова, скольких дочерей Юдифи, кроме своей зарегистрированной, на истинный путь направил, отвлек от дезертирства на землю далеких предков. Сколькие, которые во тьме могли бы плутать, через него к вере пришли. Для скольких душ его трудами врата небесные разверзлись.

Он стал чаще бывать в Ягодке.

Катерина усохла, изба просела.

Он ходил по местности, здороваясь с редкими старухами, чьи потомки разъехались по крупным и комфортным населенным пунктам и не являлись в отпуск.

В застойные социалистические времена в Ягодке затеяли возводить ферму для крупного рогатого. Колокольню приспособили под водокачку, и теперь она целилась в небеса дулом надстроенного бетонного цилиндра.

Финансирование сначала сделалось пунктирным, а затем прекратилось. Строительство бросили, ангары для буренок так и остались незаселенными, а водокачку успели запустить, и на огородах появилась невиданная вещь — шланги для полива. Провести водопровод прямо в избу никто не решался, одна только Катерина потребовала. Ее под-

вергли общественному осуждению за поправки устоев, но скоро появились смельчаки, следовавшие ее примеру, и струйки, полившиеся из кранов, смыли старину.

Мотор тянул исправно, но трубы нуждались в ремонте. Колокольня вся сочилась. Летом окружала себя болотцем, зимой — ледяными буграми.

Кладбище расширилось, приютив многих, кто не успел съехать в город. Последнее пополнение оно получило за счет двух местных срочников, вернувшихся из Афганистана в герметично запаянных пеналах.

Вместо сестренки Раечки и папаши торчал сварной голубой крестик. На месте ямы, куда свалили партизан, — пирамидка со звездочкой. Германские похоронные следы стерлись и не определялись даже внимательным взглядом опытного аборигена. Один точеный каменный ферзь, поставленный в тысяча восемьсот сорок восьмом году на грудь строителю церкви, надворному советнику, стоял незыблемо.

Сулейман-Василий подолгу находился в церкви, которая стала совсем как выброшенный на берег, выеденный чайками кит.

Остов и оконные дыры.

Замазанные, проглядывающие из-под облезавших слоев, скорее дорисованные воображением, чем существующие взаправду, евангельские лики проступали на сводах. Апостол Матфей пророс угнездившимся на крыше деревцем, мочалки корней свисали из его рта и носогубных складок. В цветастом, старинной плиткой выложенном полу зияли пробоины — результаты кладоискательства. В углах чернели следы костров. Стены покрывали любовно-оскорбительные надписи. Ласточки рассекали кубометры пространства, ныряя в окна и прорехи. Клочковатая собака с мордой, точно в чернила окунутой, с похотливой настойчивостью терлась о ногу.

После самой страшной войны церковь некоторое время стояла заброшенной, потом в ней устроили клуб и показывали кино, но дело само собой заглохло, кто-то однажды сорвал замок, и с тех пор культовое сооружение служило пристанищем ночным гулякам. Сулейману-Василию не было обидно за оскверненный храм. Он радовался за молодежь, осуществляющую свидания в романтических руинах. Но стремление к порядку не давало покоя.

Кроме того, он испытывал перед Ягодкой что-то вроде вины, которую порой испытывают думающие русские горожане перед всей остальной необустроенной Россией. У него вон горячая вода и поликлиника под боком, а здесь дома гниют, жители разъехались, церковь доживает. Он ощутил прилив сил и тягу к пусть умеренному, но самопожертвованию.

Испросив разрешение у задобренного единоразовым взносом главы сельсовета, выбив благословение епархии, Сулейман-Василий купил у военкома списанный «козлик» и принялся разъезжать по окрестностям.

Призывал к пожертвованиям немногих местных кооператоров, ларечников, редких фермеров, сельских рэкетиров и чиновников.

Чтобы воздействовать на несимпатичных с виду, но почти наверняка прекрасных где-то глубоко внутри деловых людей, Сулейман-Василий возил с собой дочь.

Вера была очень хороша в своей юности. Она быстро вымахала, в классе считалась дылдой, взрослые заглядывались на ее ноги. Возвышенное сочеталось в ней с натуральным, кудри, которые теперь некому было обкорнать, лежали пышным стогом, а глаза были вовсе

особенными. Контуром матушкины ближневосточные, а цветом то серебряные, как ивовая листва, то черные, как гладь с кувшинками, и догадаться, что там бродит, совершенно невозможно.

Пожертвования потекли мелеющим, звякающим медными монетками ручейком. Новые купцы, даже те, которые долго потом покачивали головами и причмокивали, вспоминая дочку реставратора, щедростью не отличались. Расставались с наличными неохотно, не упуская случая поучить просителя жизни. Шутили, как бы он их грошики не подтырил, и проявляли неприятную хамоватость, свойственную совершившим благое дело.

Дети сторонились, бабы шептались, две старухи, которые все прочее время спорили, которая была лучшей дояркой, жевали вслед: — Полицая сын. Сулик. Неймется ему.

Единственный мужик, бывший председатель Брыкин, когда-то прославивший Ягодку появлением своего портрета в районной газете на полосе пьяниц, увидев Сулеймана-Василия с лопатой, посоветовал копать глубже. Говорят, где-то тут барин зарыл изумруды и бриллианты.

Сулейман-Василий скоро ощутил себя очередным оккупантом — вроде сопротивления особенного не встречаешь, но и поддержки никакой, одно бездорожье, воровство и тугодумие.

И он стал выносить из дома вещи.

Точнее говоря, продал две чрезвычайно темные картины вывезенные еще танкистом из Лейпцига в качестве репарации.

Разглядеть на них все равно ничего было невозможно. Танкист потому и взял — с одной стороны, живопись, с другой — что нарисовано, непонятно, и глаз не устает.

В свое время Эстер эти картины берегла. Одну в их с мужем комнате повесила, а две другие у дочери по сторонам пустого книжного шкафа, который скоро заполнили наштампованными в те годы томами. Вера, когда склонность к чтению ощутила и полезла в шкаф, с удивлением обнаружила, что страницы с типографских времен не разрезаны. Никто книг прежде не касался, и они распахивались, хрустя и распространяя надрывный аромат типографского клея и передержанной прелести. Книги были стары и нетронуты, как бутоны

нераспустившихся цветов. Вера помыла руки с мылом и больше шкаф не открывала.

Одно из трех полотен, висевшее по левую сторону книжного гарема, потерялось из виду давно, это было самое светлое произведение. Степень его светлоты была такова, что внимательный осмотр при включенной люстре позволял угадать в пятнах и очертаниях коленапоклоненного монаха — видимо, святого, воздающего молитву кому-то в правом верхнем углу, как будто на дереве.

Впрочем, наличие дерева ни раньше, ни тем более теперь подтвердить нельзя. Что бы ни поддерживало того, в правом верхнем углу, это был святой явно поважнее монаха. Может, и женщина. Возможно, Мария, которую вознесла на ветви сила Святого Духа.

Много лет назад, когда овдовевшая Эстер впервые объявила, что плохо видит и просит еду в постель, дочь уважила и принялась ухаживать, однако, заметив вскоре, что, кроме просмотров по телевизору фигурного катания, мать еще и кроссворды разгадывает, заботу прекратила.

Вымышленную же слепоту дочь решила монетизировать — стала таскать из квартиры ценные предметы.

Путь в комиссионку проторила сломанная лампа в виде неудобно изогнувшейся девушки, а вскоре исчезла и картина с коленопреклоненным монахом и таинственной особой в кроне.

Пропажу Эстер отметила скандалом. Сначала она подумала на соседку-доходягу, потом на сантехника, а потом все поняла.

Требовала вернуть, грозила участковым. Когда, немного остыв, спросила, на что дочери такие деньги, она была уверена, что за картину и лампу можно выручить тысячи, что, кстати, оказалось сущей правдой, ответ поразил простотой.

— На мужиков, — отрезала юная красавица. — На Ялту, на шампанское и на хороших мужиков.

Другая бы устраивала так, чтобы за нее платили, но этой была свойственна самостоятельность и даже некоторая склонность к меценатству.

Не испытывая угрызений, будущая мать Веры отправилась спускать вырученное, купив заодно для мамы валерьянки и «Наполеон».

С тех пор вдова в дела квартирной собственности не вмешивалась. Наследница же, несмотря на свою дерзость и прыть, обороты сбавила и больше отчий дом не расхищала.

Теперь Сулейман-Василий после долгих размышлений испросил разрешения у Эстер. Она в момент его вопроса беседовала с комодом, но зять был педант. Впрочем, она не протестовала.

Он обсудил с Верой, та кивнула, не отрываясь от телефонного разговора с подружкой.

И он отнес два сохранившихся холста антиквару.

Перекупщик долго всматривался в живописный мрак, за последние годы только сгустившийся. Сулейману показалось, что холсты приняли в себя грехи всех своих владельцев.

Пожевав бороду, антиквар выложил довольно приличную сумму, сам до конца не понимая, зачем ему это, без всяких сомнений, подлинное, но совершенно бессмысленное приобретение.

Вырученного должно было хватить на крышу, закладку проломов и застекление окон. Накупив материалов, Сулейман-Василий взялся за дело. Своим порывом он собирался зарезать дремлющих до поры подвижников, в первую очередь Брыкина.

То было счастливое время, летом вся семья: мать, теща и дочь жили в его родной избе. Сулейман-Василий мечтал, что однажды наступит день, и он навсегда вернется в Ягодку. Очистит и нарядит церковь, подыщет ей батюшку, как жениха для дочери подыскивают, и тот станет приобщать доживающих старух и Брыкина, а через них наезжающих родственников. И так вся Россия, деревня за деревней, церковь за церковью.

Вера испытывала другое. Томимая подростковыми переживаниями, она бродила среди трав и стволов. Катерина, привыкшая к одиночеству и не особенно жаловавшая гостей, занималась огородом, а Эстер подолгу лежала на кровати, тяжело вздыхала и громко пукала. К тому времени она окончательно переселилась во внутренний мир, Веру и зятя принимала то за мужа и дочь, то еще за кого-

то, им неизвестного, времена и люди смешались, и одно лишь не изменило ей — зрение.

Именно благодаря зрению она, не бравшая в жизни чужого, обкрадываемая собственной дочерью, а по ее следам, пусть в благих целях, еще и зятем, совершила воровство — похитила первый созревший помидор.

Урожай был хороший, ветки прогибались под весом плодов, но первый, набирающий цвет помидор волновал особенно.

Вера, Катерина и даже Сулейман-Василий каждое утро проводывали парник, где любовались наливающимися красными боками, и каково же было удивление этих терпеливых созерцателей, когда в одно прекрасное утро помидор исчез.

Чуть в стороне смотрела вдаль дожевывающая Эстер.



Зимой, вскоре после Сретения, Сулейман-Василий получил телеграмму, известившую о Катерининой кончине.

Никаких свойственных горожанам параличей, продолжительных, требующих госпита-

лизации и сложных процедур недугов. Умерла по-деревенски: вымыла полы, сходила в баню, оделась в чистое, легла — и до свидания.

Два дня дым из трубы не валил, соседка заметила, удостоверилась и Сулеймана известила.

Непоэтичное дело зимние похороны. Никаких поросших васильками пригорков и пения птах. Топчешься на краю земляной дыры, смотришь на срез — плодородный слой, осколки, пучки корней, красная глина, утираешь помороженный нос и думаешь, как бы не поскользнуться на утоптанном снегу и вслед за покойником не сверзиться. Русская зимняя природа не оставляет места фантазиям. Вот она яма, и вот, собственно, все.

Не пожелавшая отставать Эстер вскоре последовала за родственницей. Склонный к обобщениям мыслитель сказал бы, что уходит поколение.

Летом Сулейман-Василий продолжил работы в церкви, в которых, поартачившись, постоянно сквернословя и поминая свой атеизм, согласился участвовать за плату и Брыкин. Вера была рядом.

По причине каникул в Ягодке собралась молодежь. Девки и парни слонялись по бывшей Кайзер штрассе, нынешней Ленина, от поля до церкви и обратно. Шаркали большими, не по размеру, сапогами, роняя семечковую шелуху и опустошенную винную тару, накинув на плечи телогрейки, которые в те годы не только в городах-миллионниках, но и в сельской местности сделались символом нонконформизма и раскрепощенности.

Несколько раз Вера встречалась глазами с видным пацаном Мишкой, когда тот подволакивал мимо нее свои кирзачи. Мишкино лицо не носило следов низких душевных свойств, как у многих, и одновременно черт вымороженных, свойственных городскому молодняку. Он был похож на пластмассовый манекен из витрины спортивного магазина. На него заглядывались, он гулял с Танькой, но в последнее время связь их шла на убыль.

В ту пору Вера увлеклась изобразительным искусством и, оказавшись в Ягодке, ходила по окрестностям с ящиком, набитым красками. Леса, поля и дали представляли перед ней во всей красе, и она запечатлевала их со страстью. Местные кружили поблизости, но за-

глянуть бесцеремонно и начать обсуждать, похоже или не похоже, не решались.

Однажды, возвращаясь с пленэра, Вера столкнулась со стайкой пацанов. Она поглядела на них своими в оторочке рыжих ресниц глазами, и у встречных дыхание прервалось совершенно, и девахи их привычные разом забылись. И если бы Вера еще им внимание уделила, то девахи бы и вовсе выветрились, и навсегда остались бы без тычков, плевков и мимолетных, со стянутыми трениками, перепихонов.

— Нарисовала чего? — громковато спросил Мишка, когда она уже прошла мимо.

— Нарисовала.

Мишка, конечно, трусил, как все трусят, но не все свой страх выказывают, отчего может показаться, что есть в этом деле смельчаки.

Вера стащила с плеча лямку, откинула крышку этюдника и осторожно, пальцами за края, чтобы не размазать свежую лоснящуюся живопись, достала из зажимов картонку с небом, избами, галками телеграфных столбов и церковь.

— И охота мазюкать, — высказался который собирался в десант.

— Тебя не спросила, — ответила Вера.

— Бабкин дом! Могла бы и покрасивее, — заметил который откосил по почкам.

— Пальцем не тычь, не высохло.

Добавить было нечего, и Мишка решил — спросил, может ли она его, так, чтоб похоже. И схватил зачем-то за локоть.

Уже несколько дней, проходя мимо пацанов, по замирающему хрусту семечек, по сочным плевкам Вера понимала — со дня на день случится. Теперь он сжимал ее локоть, и она потеряла концентрацию, как боксер в нокауте. Ей показалось, что она стала оплывать свечой и сейчас совсем стечет на землю к его стоптанным кирзачам.

Осадок заката стремительно растворялся в черно-голубом небе с розоватыми хлопьями кучевых и перистых. Она ответила: «Могу» — и не рухнула, когда Мишка разжал хватку.

Она собрала этюдник и пошла не на своих ногах к избе, где ее ждал отец, погруженный в радость своей миссии, не заметивший случившейся в дочери перемены.

С того дня Мишка сопровождал Веру и катал на мотоцикле, собранном им из разрозненных деталей. Поездки оглашались лаем

кудлатого бобика, преследовавшего Мишкину тарактелку.

Она рассказывала ему о художниках, подсунула книжку с репродукциями Лотрека, справедливо полагая, что наивернейший путь мужчины к живописи идет через уличных девиц.

От образования Мишка отказался, мол, он для этого слишком энергичный, на месте сидеть не может, лучше поотжимается, или на мотике погоняет, или вон ее, Верку, вдоль всей улицы на руках туда-обратно десять раз бегом.

Если они возвращались со стороны поля, то подолгу прощались, стоя по разные стороны задней, затянутой сеткой калитки, и железные соты тяжелели их чувствами.

Вера боялась отца, но тот был слишком увлечен церковным зданием. Он вообще Веру не донимал, только однажды, еще весной, наткнувшись в грязном белье на трусы с малюсеньким, но сразу бросившимся в глаза пятнышком, вдруг взбеленился. Как она смеет разбрасываться трусами, и почему он должен видеть эту мерзость. Из него хлестало, как из пробитой трубы, и он не замолк, пока последнее хриплое «да как ты смеешь» не вытекло изо рта.

Ее взросление он тогда посчитал предательством, понимал, что глупо, но ничего поделаться с собой не мог. Вспоминал, как обнимала его, называла папочкой, уверяла, что они всегда будут вместе, что она от него никуда и никто им больше не нужен. Только она и папочка. Знал, что будет иначе, но не спорил и ничего ей не запрещал, мальчиков не отваживал, и только крохотное пятнышко, ему не предназначавшееся, ненароком подсмотренное, его взорвало.

Тогда Вера впервые сбежала. На электричках покатила в сторону Ягодки, засветло не успела, заночевала в подъезде возле вокзала, продрогла, едва увернулась от по-вратарски растопырившего руки пьянчуги и на следующий день предстала перед измученным раскаянием и тревогой отцом. Но то случилось раньше, ничего подобного он себе больше не позволял, предоставляя дочери свободу, которую она порой принимала за его к ней безразличие.

Портрет успел просохнуть и украшал Мишкину комнату. Бабка ворчала про баловство, но он поставил портрет на самое видное место, на старый телик на тонких ножках, и не без самодовольства собственное изображение рассматривал. Победа близилась.

Однажды поздним вечером, когда все одушевленные, убаюканные ужином и самогонкой, уснули, Вера и Мишка привычно сидели на поваленной иве возле пруда. Вера задрала голову и увидела, как далекий самолет белым стежком скрепляет облачную прореху, из которой бесстыдно светит зафутболенная на самую верхотуру луна.

Когда шли мимо церкви, Мишка предложил зайти и завалился на Веру, поцелуем преградив путь к сопротивлению.

Он втолкнул ее под своды и опрокинул на пол. И стал хватать вожделенные части ее тела. Принялся стаскивать и пробрался.

В ее ноздрях мелькнул запах гнили, лунный свет выявлял на облупленных стенах человечков с золотыми кругами вокруг голов. Точно такой круг ей когда-то сделали к Новому году в детском саду.

Желтый, картонный, был обшит мишурой.

Крепился резинкой к подбородку.

Неприятные ощущения сдули истому, Вера стала защищать то, что принято называть честью — дрыгала ногами и ухитрилась применить прием самообороны, которому научила одноклассница.

Мишка воспринял без юмора и ответил кулаком.

Голова ее мотнулась бровью о кирпич.

Кровь полилась изрядно, но он так увлекся, что не заметил.

Потом, когда кончилось, стал приговаривать, что сама виновата.

Она подтянула штаны и сказала, чтобы он не волновался, с ней все в порядке, а завтрашняя прогулка отменяется.

Перед тем как войти в избу, Вера снова посмотрела наверх. Облака рассеялись, и остались только исколотая, вся в дырках звезда, тьма и неприкрытое, безупречное очко луны.

Отец не заметил повреждения на Верином лице, чем с одной стороны уязвил, с другой избавил от утомительных расспросов. Лето, а с ним и средства подходили к концу. Поступив в следующем июне в высшее учебное заведение, Вера в Ягодку больше не поехала.



В те времена шкура отечества начала трещать по линиям рек и, особенно, гор. Ее подгрызала национальная гордость некогда

братских народов, давние обиды и годами смиряемые амбиции.

Многие покидали вчера незыблемую, а ныне ходящую под ногами почву, ища не то чтобы рай на земле, но свежего ветра, морских берегов, круизных лайнеров, зеленых коктейлей, вечерних платьев, белых смокингов и всего того, что здесь традиционно или не сыщешь, или дурно скроено.

Одним ягодинским летом Вера нашла птенца ястреба. Она выхаживала его несколько дней, но потом птенец все равно разинул клюв и больше не закрывал. Держа его еще живого, Вера увидела, как по руке ползет блоха-пероed. Блоха оставляла птенца, чуя его скорую кончину. Так и граждане, предчувствуя гибель государства, бежали кто куда. В числе таких оказалась и Вера. Не закончив учебу, она отбыла за океан и порядочно задержалась, просрочив визовые сроки.

В младшие школьные годы из соседнего дома эмигрировала целая семья. Тамошний мальчик, готовясь начать совершенно иную жизнь, в последние дни перед отъездом раздавал игрушки. Он излагал планы будущего быта развесившим уши дворовым, одаренным

юлой, мячом, велосипедным насосом или еще каким детским предметом.

Говорил он точно заказчик, отправляющийся принимать работу прораба, устраивающего человеческие жизни.

Веру, наделенную тогда несколькими пластмассовыми кеглями, особенно поразила его затея с лифтом в шкафу. Отъезжающий мальчик обещал, что непременно заведет себе такой лифт.

Заходишь в комнату, там обычная обстановка и, разумеется, шкаф. Только шкаф не простой, а с тайником. Задняя стенка отодвигается, а за ней лифт, способный обеспечить тайное исчезновение или, наоборот, появление хозяина.

Вера отнесла никчемные кегли на помойку, а от чужой мечты о лифте в шкафу избавиться не смогла. Глядя на старый, когда-то принадлежавший монетному красавцу гардероб, она фантазировала, как дверцы распахнутся и откроется таинственный путь.

Возносясь вместе с ревущим «Илом» от исчерканного черным бетоном отчизны, Вера наполнилась мыслями о чудесном мире, который откроется ей в одном из шкафов далекой

земли. Спустя недолгие месяцы, таская грязную посуду, убираясь в чужих квартирах, выгуливая домашних питомцев, она часто думала о том, сколь нелепа была мечта взбудораженного отъездом мальчишки. Ничего, конечно, не осуществилось, и живет он наверняка в одном из малоэтажных сооружений дальнего Бруклина, где не то что тайных, а вообще никаких лифтов в помине нет.

С периодом ее жизни за океаном связана одна задержавшаяся в памяти история. Вера кое-как устроилась, обзавелась итало-ирландским почитателем, он-то и пригласил отметить День Благодарения со своими стариками.

Разграфленный на квадраты пригород. Одноэтажный дом, распределенный комнатами по плоскости участка. Огоньки на крылечке, на пороге мать — подвыпившая, доброжелательная, громкая, и отец, потише и потрезвее, похожий своим тexasским лицом на большой кусок маринованного тофу.

Стол был сервирован для великанов. Его загромождали тарелки величиной с телевизионную антенну, ножи и вилки напоминали охотничье оружие, бутылки походили на огнетушители.

Основным свойством всех сплошь предметов этой страны была величина — все было в два раза больше, чем в остальном мире. Автомобили длиннее, жилплощади просторнее, порции двойные.

Всего больше, чем требуется. Особенно еды. Белки и углеводы. Все только и делают, что переедают, чтобы затем сбрасывать вес.

Пока хозяйка смешивала для Веры коктейль, сыпая кирпичи льда в ведро стакана, ее сын, Верин бойфренд, вместе с отцом умело трудился над индейкой. Профессией мужчин этой семьи была кулинария. Отец и сын работали поварами. Вера и познакомилась с ним в ресторане, где он поваром, она официанткой.

Отхлебывая цветастое пойло, Вера наблюдала.

Скрюченными, словно гвозди вывороченной доски, пальцами отец держал громадное, податливое, розовое индюшачье тело, а сын шарил между ее ножек своей волосатой лапой.

Фаршировал и начинял.

Мать в который раз поинтересовалась, у власти ли тот парень с пятном на лбу и есть ли в России «Макдоналдс».

Отец посетовал, что раньше было лучше. Машины больше, девки веселее, снега наметало так, что дверь не откроешь. А сейчас одни черномазые и гомики.

Тем временем индейка покрылась корочкой и была воздвигнута на середину стола как храм и священная жертва. Мать подливала, отец подкладывал, и скоро Вера обездвижилась от употребленного.

Все в той стране устроено так, чтобы быть употребленным.

Животные улыбаются с витрин мясных лавок. С рождения они знают, что предназначены на заклание едокам, нагуливают жиры, ожидая своего часа со сладостным предвкушением. Одушевленные и неодушевленные предметы так и прыгают в рот. Чтобы получить право употреблять других, люди готовы отдать в употребление себя. Всеобщее взаимное употребление вообще свойственно человечеству, но нигде оно не устроено таким привлекательным, конвейерным способом.

Захваченные вожделием, мать, отец и Верин ненаглядный потянулись к индейке. Мать вцепилась зубами в ножку, будто в той крылся

секрет омоложения, отец царапал грудку, соскребая кожу, сын грыз крыло. За изгородью надрывались соседские доbermany.



Знакомые Сулеймана-Василия ее отъезд осуждали. Видели в нем результат отцовской мягкости и потакания.

Вот что значит закрывать глаза на блуд и вольномыслие.

А все потому, что жена из этих. Генетика.

Подсылают к нашим мужикам своих, чтобы влияние поганое осуществлять, а наши мужики потом места себе не находят. И дети мечутся неприкаянные.

Они вон и Союз подточили. Есть один высокий дом в заокеанском Вавилоне, в доме комната, в комнате той собираются гнусные карлики, подлые кукловоды, тайное мировое правительство. В эту комнату все нити и ведут. Разрубить бы их разом, да с силами никак не собраться.

Разговоров таких в то время велось много, и редкие сохраняли рассудок, понимая, что никакой комнаты нет, а если и есть, то сидят там

такие же, как и в прочих комнатах, точно так же испытывают голод, боятся смертельных диагнозов и, возможно, верят в то, что дергают за мировые нити. Эти самые нити, может, куда-то и тянутся, да только рвутся часто, а по пути их тормозят все кому не лень, и детки на этих нитях виснут и белье треплется, так что преувеличивать значение этих нитей и тем более кукловодов ни в коем случае не стоит.

Сулейман-Василий высокомерием и мнительностью рьяных верующих не отличался, право судить и миловать не присваивал, поучениями дочь не изводил, геенной не грозился. Из-за этого многие, понимающие религию как принуждение и кару, посчитали его за нюню и половинчатого.

Не одна дочь оставила Сулеймана-Василия. Брыкин, неутомимо ругающий новые порядки и разграбление страны, перестал помогать в церкви и начал собирать металлолом. Первым делом он обезжелезил недостроенные коровники, сдернул лебедкой фермы кровельных перекрытий, поотрывал петли с ворот, даже гвозди собрал. Вырученное быстро кончилось, и Брыкин сунулся в соседние поселения, но встретил отпор конкурентов. Тогда он

срезал изрядный кусок кабеля с линии, снабжавшей Ягодку электричеством. Делу хода не дали, но Брыкина отколотили. Отлежавшись, он тщетно пытался похитить у соседки алюминиевый таз, зимой прикорнул в сугробе после баньки, а весной не проснулся.

Другие Сулейману-Василию не помогали. И вообще народ стал обособленным. Общаться стали меньше, даже у приезжающей раз в неделю автолавки. А чего зря языком трепать — у каждого свой телевизор. Реставрацию церкви расценивали как повод к наживе. Услышав, что работы ведутся на средства, вырученные от продажи ценных домашних предметов, а пожертвований хватает только на корм иждивенкам-кошкам, ягодкинцы понимающе улыбались. Так мы и поверили. На свои да без выгоды. Кому нынче надо свои в рухлядь вбухивать. Получил, небось, от московских попов кусок, а половину в карман, если не все две трети.

Про две трети предположила Валентина, успевшая поработать в колхозе счетчицей.

Иногда Сулейману-Василию вредили.

Не умышленно.

Просто церковный кирпич обладал неплохими эксплуатационными качествами — отлично укладывался в ремонтируемые фундаменты и садовые дорожки.

Стоило Сулейману-Василию ненадолго уехать, как в стенах церковного здания образовывались выгрызы — несостоявшаяся паства выламывала не стесняясь.

Сложенные на просушку доски в одну ночь растащили. Оконные рамы, вставленные на пару с Брыкиным, внук Сергевны аккуратно вынул и приспособил под теплицу.

Наш энтузиаст все чаще обнаруживал себя будто во сне, когда окружающая вязкая среда замедляет и тормозит движения, гасит порывы, сводит на нет инициативу. Лишь однажды он получил осязаемую и совершенно безвозмездную помощь.

Несколько дней подряд возле церкви появлялся пожилой дачник из местных уроженцев, смутно знакомый по малолетству. Он молча курил и задира л голову, когда же Сулейман-Василий приветствовал его, уходил не отвечая.

Вскоре этот застенчивый наблюдатель решился на контакт — неожиданно сунул в руки литровый бидон, оказавшийся настолько тяжелым, что Верин отец согнулся до земли.

Незнакомец пояснил, что всю жизнь складывал, а семьи не нажил.

Жена и та от водки весной померла.

Так что пускай на дело пойдет.

А работал он в морге и за годы трудового стажа бидончик насобирал.

Тара под самую крышку была полна переливающимся золотом зубных коронок.

С помощью цветных проводов и старой ванны Сулейман-Василий позолотил изготовленный у жестянщика новый купол, нанял армянских работяг из беженцев, и те взгромоздили купол на церковный барабан.

Потенциальные прихожане сбрелись поглазеть, лузгали и лениво роптали — нерусские крест поднимают.

А Сулейман-Василий радовался за того обрубка, из чьей мертвой челюсти выломал золотой моляр — германское, найденное им в детстве золото, смешавшись со славянскими, татарскими, еврейскими и кавказскими зубными протезами, сверкало теперь в лучах светила.

Впрочем, страсти продолжали кипеть и в круглых купольных боках — в коллекции патологоанатома по удивительному совпадению оказались и два резца ветерана-минометчика,

чей выстрел в свое время лишил Суликовского найденыша конечностей. Золото былых противников слилось и бурлило, придавая блеска православному наконечнику.

Заново закупленные и вставленные с помощью тех же армян оконные рамы вернули церкви уют. Сквозняки перестали беспокоить, и только ласточка, влетевшая в интерьер по старой памяти, билась о прозрачную преграду.

Как только Сулейман-Василий ни подзывал ее, показывая путь через дверь. Ласточка не слушала и металась.

По шаткой лестнице он взобрался к обесилевшей птичке под свод. Попробовал набросить на нее рубаху, но не поймал, а в следующий миг ласточка, совершив несколько воздушных конвульсий, упала вниз.

В углу стояла необычно украшенная доска — Дева и приложившийся к ней Сын, вырезанные Сулейманом-Василием из распрявленного консервного металла.

Лики из белых джин-тониковых изнанок, нимбы тушеночного золота, оклад — кока-кольные кружева.

Стоя над мертвой ласточкой, Сулейман-Василий понял, что ему никогда не позволят разместить подобное в церкви.

И он вдруг ясно увидел, что своей реставрацией задушил церковь, законопатил. Превратил в толстозадую утеплившуюся бабу.

Когда он завершит работы, епархия назначит настоятеля.

Стены увешают блестящими вещицами и лакированными картинками.

Повсюду станет ладан, шепот и причитания.

Обильное летом, скудное зимой, поползет обретшее богобоязнь население, которое недавно в одиночку и сообща крушило кладку на собственные нужды.

Подъедут хозяйственники, благодетели из администрации, которые для Спасителя строят, как для себя.

Выровняют, зашпакуют, облицуют, разрисуют.

И сделается его церковь офисом самой уважаемой добывающей конторы, ресурс которой, в отличие от нефтяных и газовых, не исчерпаем.

И пойдет молельная гульба.

И начнут прихожане осенять свои тела щепотками крестных знамений.

И потекут доходы, налогами не облагаемые.

Вспомнился виденный когда-то в музее египетский гроб. Нарядный и обделанный, разукрашенный изнутри узорами и заклинаниями.

И ощутил Сулейман-Василий себя мумией.

Сам себя в гроб упрятал, бинтами обмотал и поверх бинтов, поверх своего живого лица кукольное, застывшее намалевал.

С ним случилось нечто вроде обонятельной галлюцинации, мерзость ударила в ноздри, кислород иссяк.

Стало тесно.

Закупоренность и пристойность душили.

Вхолостую хватая ртом, он вывалился во двор и, оказавшись вне стен божьего ПМЖ, долго не мог надышаться. А когда надышался, вера тотчас ушла из его жизни.

Это он тогда разорвал журналы политинформации и настольные игры.

Он вошел в церковь и подручными предметами принялся колотить окошки.

Вера нужна сомневающимся, а он больше не сомневался.

Он впускал в церковь простор, и вера уходила из его жизни.

Явились дети, проснулись работяги-армяне, приплелся отставной сотрудник морга.

Они смотрели на него, не догадываясь, что после годов исканий и служения, ревности и борьбы Сулейман-Василий наконец осознал, что никакого Бога ни на земле, ни на небе нет, и в тот самый миг узрел Его.



Даты сменялись быстро, Сулейман Федорович так в гости к дочери и не собрался. Старые знакомые, не желая знаться с идейным расстригой, отделились.

Хорош, на старости лет церковь погромил, от истинного Бога отказался. Всегда, небось, сомнения в душе таил. И когда алтарником прислуживал, и когда исповедовался, и на Святом Причастии. Дело бы следовало завести, чтоб неповадно было.

Превратившись в обычного одинокого пенсионера, оставшись один на один с повседневностью, Сулейман Федорович полюбил захаживать на рынок.

В рыбных рядах лежали оковалки разрубленных семг, громадные блямбы камбал, стальные кладки форелей.

Мясной ряд был точно кремлевская стена, красно-белым — гранит говядины и мрамор сала. Младенческие тела поросят, арфы ребер на крючьях, рогатые освежеванные головы с бильярдными шарами глаз, исполинские слизняки языков, кукиши мозгов, рогатки куриных лапок и куриные эпилированные тела сообщали, что милосердие если и существует, то не на пустой желудок.

Пресыщенные пни с вонзенными топорами набухли кровью.

Молочный отдел был настоящим островом мира в океане смерти. Повсюду марля и бумага. Все белым-бело, и опрятная старушка, на переднике ни пятнышка, моет сито под стружкой.

Вегетарианские прилавки накатывали с обеих сторон разноцветными валами. Раскрытые и целые арбузы, мешки с сокровищами сухофруктов, плетеные шкатулки ягод. Эллипсоиды дынь, сгустки астраханских помидоров, россыпи винограда.

Рынок в те бедноватые времена был очагом настоящего продовольственного разгула,

и неудивительно, что именно там Сулейман Федорович нашел ответ на все свои вопросы. В цветастом мире фруктов и овощей оставленный дочерью отступник обрел новое вдохновение.

События развивались так, как они обычно развиваются в подобной ситуации долгие века и будут, видимо, развиваться и дальше, даже когда многие человеческие органы заменят на искусственные. Завсегдатай рынка сблизился с торговкой фруктами, которая далеко-виднo одаривала его то пушистым персиком, то пористым мандарином, в зависимости от сезона, и была ничуть не менее свежа, чем спелый, округлый, упругий товар, в избытке разложенный на мраморной доске. Все открытые взору фрагменты ее тела вздымались и светились подобно косточковым, созревшим на тропической ветке, достигшим товарного апогея во тьме трюма и теперь расположенным в умопомрачительной доступности.

Фруктов помолодевший помыслами Сулейман Федорович не любил и отоваривался у ее соседки, предлагающей маринованные томаты и черемшу. Но та была моложе него только

на двенадцать лет и никак не могла надеяться на благосклонность.

Получив как-то раз от фруктовницы очередной плод, Сулейман Федорович завел с ней один из тех пространных разговоров об одиночестве, о редких звонках дочери, о невымытости полов и окон, короче, тот разговор, который, ни к чему не ведя, ведет к самому главному.

В тот же вечер фруктовница намывала паркет любителя маринадов, и поза, в какой она это делала, подтолкнула сюжет к дальнейшему развитию.

Бескорыстность молодой торговки развеялась в первый же вечер – ей потребовалась постоянная регистрация, чтобы алчные сотрудники миграционного ведомства не смогли разлучить влюбленных.

Документ был оформлен одновременно с браком.

На торжестве, когда гости со стороны невесты горланили здравицы, она кокетливо общала, что вышла замуж по любви, а не по залету.

Новая хозяйка поначалу вела себя осторожно, как собирательница, только ступившая на

клюквенное болото. Однако быстро освоилась, начала переставлять и выкидывать, а ошалевшего от непривычной домашней активности собственника пичкала копченым и жирным, еще сорок лет назад при военкоматовской диспансеризации не рекомендованным.

На ласки она не скупилась, отчасти по инерции, отчасти из чувства справедливости, по которому папаше причиталось. От всей души она применяла снисходительную любовь, свойственную медсестрам и сиделкам.

Надо ли удивляться, что при таком режиме менее чем через год разгоряченного и раскормленного молодожена свалил первый удар.

Молодая охала, страдала и один раз опрокинулась в обморок, но, додумавшись, что ненатурально да и не перед кем, больше падений не повторяла.

Вера приехать не могла, границы заокеанского материка навсегда бы закрылись перед ней, а чахлая надежда на тамошнее счастливое будущее все еще теплилась. Она отсылала заработанное и скопленное, регулярно звонила. То раздражалась скандалами, то умоляла сделать все возможное, ее возвращение не за

горами, только легализации дождется, адвокаты сулят, уже вот-вот.

Фруктовница, надо отдать должное, присваивала отнюдь не все присылаемые средства. Наняла сиделку из родственников, приобрела лекарства, и вскоре Сулейман Федорович самостоятельно стал передвигаться, подволакивая левую ножку, и произносил слова разъезжающим ртом.

Первое им содеянное было завещание.

Бенефициаром вышла фруктовница, ставшая полноправной хозяйкой квартиры в кривом переулке и дома в Ягодке.

Нотариус и судья, растопленные убедительным денежно-продуктовым предложением, назначили молодую жену единственной наследницей, обозначив Веру гражданкой, нарушившей правила пользования жилым помещением, связь с которой утрачена.

Сулейман Федорович радовался своему ответственному отношению к собственности и в детали не вникал.

Его не следует осуждать за попрание интересов дочери, за измену идеалам семьи. Он хоть и менял жизненное направление весьма радикально, но никогда себя не обманывал,

поступал, как велело то, что принято называть душой и сердцем.

Он не впал в слабоумие и видел все отчетливо. Связь с фруктовницей стала бунтом против канонов совестливой обыденности, разрывом пут из разноцветной электропроводки, которыми доброжелательные оккупанты то и дело пытаются русскую метель опутать и в сундук свой бюргерский уложить.

Веселость смуглянки, вызванная то ли обогащением, то ли частичным выздоровлением любимого, вылилась в усиление постельно-кулинарного натиска. Барышня попалась горячая, не имитировала, особенно если учесть, что на рынке, который она не оставила, у нее имелось два приходящих земляка: плиточник Коля и сантехник Ваня. И пусть в свой новый дом она являлась уже слегка измотанная Колей и Ваней поодиночке, а то и разом, но ее интимной энергии оказалось достаточно, чтобы страстная, но ослабленная сердечно-сосудистая система Сулеймана Федоровича тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения не выдержала. Он повалился рядом с недавно, Ваней, кстати, установленным, чешским сантехническим устройством, и завещание вступило в силу.



Русская девушка в чужой стране устраивается быстро. Не успеешь оглянуться, она при деле: развлекает местных мужчин, освоила таинство уплаты налогов, бегаёт по утрам, вплетает иностранные слова в телефонные разговоры со стареющими родителями. Но однажды непременно наступит день, когда случайный, едва заметный ошметок из оставленной, удаленной почти из биографии родной трясины, опять что-то там рвануло или метеорит упал, долетает до благоухающего мира и на подол, только из химчистки, шлепается. Наша героиня хорохорится, удваивает спортивную нагрузку, социальную активность, но тень приближающегося метеорита уже затмила солнце гнусной ностальгией.

Она трудится без выходных, кулинарные курсы, уроки эротического мастерства, недельный круиз, участвовавший темп культурных событий.

Налаживает общение с подругами и женами из числа соотечественниц. Собираются раз в месяц, обсуждают автомобили, собак, детей, мужей, пикники, йогу, снова автомобили.

Таблетки уже не помогают, рассеянна в разговорах, рыдает во время минета.

Прекращает общаться с соотечественницами, удаляет контакты, не отвечает на звонки. Тайная выпивка, просмотр фото из прежней жизни, которые прихватила по сентиментальной неосмотрительности.

Надо было сжечь. Задраить затопленные отсеки. Теперь поздно.

Мелкая благотворительность, жалостливость к зверькам. И чем больше попыток отсрочить, тем мучительнее.

Хорошо, детей нет, а может, плохо. Были бы дети, можно было бы себя убедить, что все ради них.

Она все сделала правильно, переехала в цивилизованный мир, где ее окружают порядочные люди. Посмотри на подруг школьных, рыхлых от картошки, которые сопляков своих по асфальтовым выбоинам выгуливают, где черный снег и желтая вода. А те, кому повезло, сосут бандитам, отеки силиконом, пустились по монастырям с vip-пригласительными к vip-мощам.

У нее все очень хорошо.

Только еды вокруг многовато.

Повсюду еда. Хочется стол опрокинуть, перемазаться, вывалиться, хохоча, распугивая жениховых стариков, соседей, напарниц по фитнесной раздевалке. А лучше тихонько барахлишко небольшое нажитое раздать, двери настежь и прочь с билетом в один конец.

Русская эмиграция не богата душевными маршрутами и сводится к двум: безоглядному погружению в новое, вымарыванию воспоминаний или педантичному, по сантиметрам, выискиванию изъянов во всем своем прежнем, чтобы этими изъянами подлатывать рану утраты. Приверженцы второго пути в силу душевной слабости отличаются особенной лютостью и только и делают, что разоблачают свое прежнее место жительства. С горячным удовольствием они распространяют любую жуткую новость о покинутых пенатах, срывают покровы и предъявляют всем, в первую очередь себе. И все, чтобы оправдать. Мол, бегство мое не впустую, не зря вырвался из дремучего и зловонного лона родной уродины. Вырвался в свет и сытость. И могу теперь вволю жить и удовлетворяться. И пусть я до конца не очищусь, но уж дети-то мои поживут.

Когда отец перестал говорить с Верой по телефону, фруктовница объяснила, что самочувствие, врачи не позволяют.

Через месяц и сама перестала отвечать, а еще через неделю Вера, не попрощавшись со своим итало-ирландцем, покинула континент.

Явившись по родительскому адресу, она сунула ключ в скважину, но замок не принял ключа.

Замок был нов и неизнаваем.

Позвонила.

Открыл неизвестный в трусах.

Сунулась к соседке, оказалось, отца больше нет, а квартира спешно реализована вместе с обстановкой.

Соседка напоила чаем, расспрашивала, как там за границей, сетовала на здешнюю жизнь. Она очень всех жалела: Веру, Сулеймана Федоровича, его умершую жену, а заодно и резной буфет. Дверь в спальню, впрочем, тщательно прикрыла.

Отца Вера отыскала на кладбище — фруктовница не стала разлучать мужа с первой супругой.

Поплакав, Вера поехала в Ягодку.

За недолгие годы благодатной тишины, которую местные приняли за упадок, деревня едва не растворилась в лесу и разнотравье. Заросли перекинулись на запущенные грядки, из некоторых, совсем хилых, домиков стало прорастать. Размылась бы Ягодка в окружающей природе окончательно, но помешал охотничий интерес столичного полицейского генерала. Сокращение численности населения в тех местах привело к стремительному росту поголовья лесной живности, которая сановника и приманила.



Генерал приобрел несколько соседних участков, в том числе и Мишкиной бабки, разобрал и сжег избы и возвел терем из германского кирпича и лакированных архангельских бревен, который напоминал разъявшегoся крестьянина, готового закусить соседями.

На разровненных, замощенных огородах теперь стояли вездеходы, на колесном и гусеничном ходу. Большую часть времени они празднично сверкали, охотники выезжали редко, чаще палили по импровизированной

дичи — опустошенной стеклотаре. Все было по-усадебному, на крыше флюгер-петушок, на цепи медведица Машка — любительница карамели. Привозили певичек, которые, кажется, и культурный досуг обеспечивали, и массаж.

В пору осенне-зимнего сезона улица Ягодки заполнялась крупногабаритными германскими автомобилями. Переваливающиеся на кочках моторы доставляли высокопоставленные тела, которые в продолжение выходных, праздников и отгулов пили и закусывали, изредка внедряясь в лес и возвращаясь с услужливо затравленным клыкастым или рогатым.

Трофеи едва радовали анестезированных чиновной вседозволенностью охотников. Лишь ничтожный процент умерщвленной плоти поедался, остальное подолгу томилось по морозильникам шуринов, тестей и свиты, пока не выбрасывалось весной при генуборке. Головами же и шкурами украшались интерьеры, добавляя обстановке то, чего обыкновенно стесняется молодежь, что выметают тотчас после кончины хозяина, что потом подолгу сбывается старьевщиками, пылится в чуланах и перерабатывается молью в желтую

труху. Впрочем, обитателей леса часто не беспокоили, предпочитая застоля.

За охотниками потянулись дачники.

В большинстве пенсионеры-отшельники, благородно освободившие для размножившихся детей городские квартиры.

Генерал поневоле дефибриллировал замершее было сердце Ягодки.

Новые собственники, один за другим, сносили и перестраивали. Недовольные сбивчивой работой водокачки бурили скважины для смыва и водопоя. Соседи отгораживались друг от друга гофрированным металлом.

Все новые жители, за исключением случайно затесавшегося пожилого агностика из академического института, декларировали себя верующими.

На собрании, проведенном непосредственно в церкви, постановили ее, церковь, отремонтировать.

Генерал, избранный старостой, решил бумажные вопросы, и не прошло года, как культовое сооружение было отреставрировано, то есть частично снесено, выведено заново и приспособлено в соответствии со СНИПами,

канонем и эстетическим уставом правящего класса охотников и рыболовов.

Живописец разрисовал своды сытыми людьми в простынях, как после парной. Черты изображенных не оставляли сомнений в личности благодетеля — в каждом апостоле и святом, в Боге Сыне и в Боге Отце, даже в Деве Марии угадывался генерал.

Водокачку сохранили не из рационального подхода, а по причине прекращения финансов. Обустроили местечко для колоколов, которые на Пасху по обычаю дергали все жители и особенно полицейский начальник, который к тому времени добровольно отправился на пенсию и вымещал неосуществленные мечты о реформе своего ведомства на чем ни попадя.

Золоченный Сулейманом-Василием купол не тронули.

Во время работ была обнаружена подозрительная икона — Царица Небесная с Царевичем, вырезанные из консервной жести.

Решили уничтожить за кощунство.

За дело взялся генерал, который отволок находку к себе и с двадцати метров всадил в нее заряд крупной, на кабана, дроби. Хотел перезарядить, но в боку закололо, и стрелок

удалился почивать, а последняя поделка Сулеймана-Василия с того дня служила мишенью, пока не измочалилась до неузнаваемости, и разве что блеск жестяных лохмотьев сделался ярче, сверкая, как купол, как чешуя барака камчатских женщин-работниц.

Среди этого нового распорядка Вера отыскала избу Катерины, точнее заросший крапивой, выгоревший сруб с башней печи. Труба съехала набекрень и чудом не обрушивалась. Чугунная дверца топки, украшенная столь не любимой матерью бесовской пятиконечной звездой, была мертвецки приоткрыта.

Расспросив шедшего мимо незнакомца, Вера узнала, что генерал вроде имел планы на покупку этих земельных соток, но Сулейман Федорович не соглашался, и вот однажды полыхнуло. Мальчишки или проводка. А вернее всего, и то и другое и еще что-нибудь, о чем только шепотом.

И Вера, переступая через жерди обугленных стропил, похожие на опущенные дула подбитых орудий, пошла по слежавшимся буграм золы, бывшим когда-то крашенными суриком полами и цветастыми половиками.

Споткнулась о панцирь кровати, к ноге что-то прицепилось.

Ком ржавой сети.

На старости лет Катерина сплела занавесь из канцелярских скрепок, каждая из которых была обмотана конфетной фольгой. Сулейман-Василий тогда удивлялся, мать сладкого в жизни не ела, а теперь подавай ей «Осенний вальс» или шоколадки. Пока плела, все соседки до диатеза объелись.

Ржавый ком и был той занавесью.

Взгляд Веры упал на внутреннюю стенку фундамента, раньше скрытую полом.

В угол был вмурован увесистый кусок белокаменного церковного фриза.

Получалось, ее дед, поповский гонитель, читатель «Правды» и добровольный помощник вермахта, когда ставил избу, за материалом далеко не ходил.

Рядом торчала ржавая труба с крючком латунного крана.

Кран был Вере хорошо знаком. Катерина очень радовалась водопроводу и, зная, что все хорошее и удобное непродолжительно, сразу наполнила тазы, ведра и корыта, жестяные кружки, все три фарфоровые чашки с обби-

тыми каемками и граненые стаканы. Разве что в наперстки не налила.

А потом не то что поверила, но как-то убавила бдительность и только время от времени поворачивала четырехконечную фаянсовую звезду-рукоять и с умилением, как на малое дите, смотрела на сверкающую струйку.

Вера открыла кран.

Труба дрогнула, харкнула, и полило.

Сначала желтая, застоявшаяся, потом прозрачная, как чешский хрусталь.

Вера умылась и хлебнула. Пригладила свои натурально вьющиеся и навсегда пошла с не принадлежащей ей больше земли, оставив кран открытым.



Вера предприняла судебную попытку вернуть хоть что-то из родительского, но не получила даже пепелище. Его, как оказалось, все-таки приобрел на совершенно законных основаниях генерал, и оспаривать этот факт было можно, но весьма затратно и малоперспективно.

Фруктовницы и след простыл, а жизнь отвлекла Веру от дальнейшей борьбы. Воспользовавшись рекомендацией престарелого издателя, чьих четвероногих питомцев опекала за океаном, Вера устроилась в один из самых известных в мире журналов об архитектурных сооружениях, фасадах, интерьерах и хозяевах, который в те годы только появился здесь.

Деньги стали поступать исправно, сняла просторную квартиру поблизости от кривого переулка, купила автомобиль и сделалась, что называется, успешной и деловой.

Не тревожась сомнениями, она стала проживать молодость вместе с оторвавшейся от овра страной.

Как и любой поживший в западном мире русский, Вера невольно ощущала себя немного иностранной, импортный шик пристал крепко, кругозор необратимо расширился, знание языка оказалось выше всяких похвал. Однако она не грешила расхожим у подобных презрением к отечеству, выше земляков себя не ставила.

В те времена страна, удивленная цифрами, выручаемыми за ископаемые, которые из-под себя выгребала, стала быстро и хаотично бо-

гатеть, поступая с прибылью так, как поступает любой долго голодавший и лишенный бытовых радостей — хапала все без разбору. Журналы тяжелели рекламными страницами, предлагающими роскошные автомобили, многопалубные плавсредства, мебель и целые острова в разных частях света.

Вере и другим сотрудницам от этого пиршества перепало — за счет работо- и рекламодателей они порхали с показов мод на приемы, летали на ужины в европейские рестораны, нежились у кромки прибора.

Многие принимали и отвергали завидных ухажеров, а самые хваткие повыскакивали замуж, и весьма практично, чуя, что праздник однажды закончится.

О тех недавних, но бесконечно далеких годах Вера могла бы многое рассказать, но один случай с лихвой заменит остальное.

Знакомый фотограф, которому она часто поручала работу, предложил съездить за компанию на съемки частного дома. Требовалось запечатлеть завершенную стройку, и он позвал Веру присоединиться.

Соль приглашения заключалась в том, что дом принадлежал могущественному вельможе,

играющему не последнюю партию в оркестре управления державой. Обычно он сохранял свое бытие в тайне, а на фотосессии, по слухам, настояла его изрядно скучающая супруга.

Этот недвижимый объект был интересен еще и тем, что ранее принадлежал влиятельному магнату и добытчику, но после его опалы был по сходной цене приобретен тем самым вельможей, магнатовым недругом.

Вельможа слыл просвещенным ценителем тонкостей, а потому вопреки тогдашней моде жилой трофеей не сровнял, а, подтверждая реноме, взялся за продуманное расширение и переустройство.

Дом и был затеян с размахом, но запросы тогда менялись по многу раз за год, и несколько лет, прошедших со дня постройки, оказались вечностью.

Проекты утверждались через супругу, славящийся нелюдимостью вельможа лица не показывал, иногда, впрочем, на стройку наведываясь. Визиты эти отличались рядом достойных описания причуд.

Время от времени к стройке подкатывало несколько тяжелых автомобилей, они останавливались на обустроенном перед па-

радным фасадом курдонере, на середине которого специально к приезду складывалась внушительная гора строй- и отделочных материалов. По прибытии гостя гора поджигалась. Едва лишь последние языки пламени гасли, невидимый пассажир велел трогать, и моторы срывались прочь, оставив аромат переработанного филигранными двигателями топлива.

Рабочие поговаривали, что у вельможи такая слабость — смотреть на огонь, пожирающий роскошь.

Как знать, но было известно, что, вопреки расчетам, горючих предметов интерьера: паркета, тканей, обоев, резьбы, мебели, дверей, окон и прочей столярки — наказано доставлять с избытком, а излишки сваливать на газон и всякий раз поджигать при подъезде хозяина.

В один промозглый, еще зимний четверг, когда все было застывшим, серым и безысходным, когда февраль, как изнурительно дотошный любовник, демонстрировал все новые трюки, хотя пора было утомониться, когда даже самому горячему славянофилу в глубине кипучей православно-языческой души хотелось к солнцу и морю, вельможа показал лицо.

По негаданному совпадению случилось это как раз, когда Вера была на объекте вместе с фотографом. Ритуал сожжения поглотил партию вручную изготовленных предметов из дорогих пород, но кортеж не двинулся с места, а минуты спустя, ко всеобщей восторженной жути, из услужливо распахнутой дверцы явился он.

Роста среднего, туфли блестят, что можно, в них глядя, бровки выщипывать.

Глаза смотрят цепкими ягодами, так и норовя закатиться в нутро собеседнику, рассыпать там косточки и прорасти.

На бледных пальцах выступают суставчики, за один зацепилось колечко, размером великоватое, будто на вырост купленное, сообщающее не столько о счастливой семейной жизни, сколько о том, что вельможа женат и все у него, как у людей.

Он поприветствовал всех рукопожатием, не чураясь испачканных краской, шпаклевкой или еще какой строительной грязью ладоней. И с мужчинами, и с женщинами поздоровался, с маляршей-хохотушкой Ниной, с озлобившимся от постоянных сожжений краснодерев-

щиком Зурабом, с насмешливым от волнения фотографом и с Верой.

Прошелся по комнатам, и стук его каблучков отверделой натуральной кожи о замысловатый узор отзывался в сердце каждого радостью и благолепием.

Цокал молча, не вздыхал от досады, от восторга не чмокал. Задержавшись в хозяйской ванной на втором этаже, долго разглядывая белоснежный, на двоих, резервуар с гидромассажными, обрамленными золотом отверстиями, очень тихо спросил:

— Это дерево?

— Прошу прощения? — Прораб, который оказался за старшего, покраснел. Архитектор не был предупрежден о визите, а то бы непременно лично встретил еще у ворот. Теперь прораб улыбался так счастливо, будто желал в жизни единственно — разобрать каждое рожденное тонкими губами слово.

— Это дерево? — повторили губы тише прежнего.

Но прораб ухватил-таки звук, стряхнул по луженому грохотом перфораторов и стуком молотков ушному каналу в башку, мозгом обрабатал и поперхнулся слегка.

— Это натуральный фаянс, джакузи, — преодолевая замешательство, ответил прораб и тут же исправился: — Двухместная ванна с гидромассажем.

Испугался, что сказал «двухместная», не слишком ли интимно, и название добавил итальянское, которое выговорить не смог, и смешался совсем.

— Я про это.

Вельможа кивнул на бухгалтершу, жену прораба, по случаю расчета оказавшуюся в тот день на объекте.

— Это моя жена, — ответил прораб, не испытывая даже ужаса перед совершенно, если разобраться, безумным вопросом, а узрев вдруг какую-то великую пустоту, которая вот-вот его поглотит.

Сам же объект вопроса, бухгалтерша, вся сжалась, вспомнив, как в школе дразнили доской. Еще она подумала, что сейчас обязательно изнасилуют, после чего сожгут в центре круга у парадного входа, смешав с пеплом цельных ножек и гардинных карнизов. Справедливости ради следует отметить, что подобных намерений ни у кого из присутствующих,

включая Анатолия Геннадиевича, личного телохранителя, не мелькнуло.

— Какая красивая женщина! — зажмурил глаза вельможа и беззвучно затрясся.

И прораб, испытавший вдруг огромное счастье, тоже затрясся и отчего-то тоже беззвучно. И прочие поняли — шутка.

И от камушка вельможной шутки по лицам пошли круги. И некоторое время все немо тряслись, не тревожа деликатную тишину грубыми звуками.

— Вы хорошо поработали, всех приглашаю на ужин, — заявил, отсмеявшись, вельможа.

Прораб с женой, малярша с краснодеревщиком и прочие поджались — похвала похвалой, а ужин совсем другое дело. Нежданная гастрономическая близость с человеком столь высокого положения пьянила и пугала одновременно.

— Нам и переодеться не во что... — обожающе произнес прораб.

— Со мной можно, — будто благословил вельможа и махнул едва заметно перстами. Все, замороженные, последовали за ним, и всех рассадили по пассажирским, кого к нему, кого к охране.

Вера оказалась, конечно, на одном с ним заднем сиденье. Сбоку наваливалась малярша, которую впустили с царственной брезгливостью. Вера понимала две вещи: человек этот не любит не то что женщин, а вообще всех людей не выносит и самого себя, вполне серьезно, от стада людского отделяет. И если судить по улыбке, по благосклонному обращению с работягами, по приглашению этому абсурдному, ему удалось убедить себя, что он человек только обликом и анатомией, в остальном же отдельный, соль земли, из космоса засланный, божественным лучом помеченный.

Еще стало ясно, что он пьян.

Не в зюзю, но сильно навеселе. Коньяком шибало, как шибает духами от кавказского франта.

Между ним и Верой возникло специфическое притяжение, которое теоретически могло привести к развитию и вообще много к чему, потому что Вера не была в ту пору связана обязательствами, а у него прошла тяжелая кулуарная встреча, на которой в очередной раз стало ясно, что изменить ничего не удастся и можно только смириться и себя не забывать, пока идет масть. И правители здесь

не вершат свою волю, куда им, просто нрав населения удовлетворяют. Да и супругу слушающую давно хотелось с шеи сдернуть... От всего этого вельможа не то чтобы загрустил, существом он был тонким, но не сентиментальным, а оледенел как-то и оттаять хотелось очень.

Но ничего не случилось. До ресторана — французского замка, обустроенного в бывшем швейном цеху, доехали в полном молчании, нарушаемом изредка нервным смехом малярши.

Видавшие виды лакеи, нисколько не удивившись вывалившему простонародью, проводили ораву через весь зал, сквозь любопытные взгляды, к укромному столу в алькове за портьерой. Веру потешил тот факт, что к ней у obsługi сразу же сложилось особенное отношение.

Опытный метрдотель склонился, готовый внимать. Вельможа вкатил в его ухо словцо, и официанты зашустрили.

Над столом меж тем повисло молчание, отягощаемое робкими улыбками и ерзаньем.

Малярша со страху высказалась, что штукатурка-де здесь не очень, она бы вывела поровнее.

Прораб перебил, мол, так положено, вроде как под старину, и посмотрел искательно на вельможу, но тот его никак не поддержал, а разглядывал внимательно отполированные ногти на своей левой.

Подкатили тележку с хлебом и тележку с напитками.

Пока каждому предлагали выбор из булок, обсыпанных различными семенами, сырной трухой, сушеными травами и еще черт-те чем или вовсе ничем не обсыпанных, распорядитель снова склонился, косясь на сосуды с многолетними и выдержанными. Чего изволите? И вельможа изволил. И распорядитель наполнил дутый, тончайшего стекла бокал чем-то тягучим и ароматным, что медленно сползало со стеклянных стенок, и подал почтительно.

Вельможа опустил в бокал нос, втянул, взор его помутился, он отпил и смежил веки, и рукой белой махнул.

Тележка, позвякивая драгоценным грузом, покатила вдоль ряда гостей и все они как один просили налить «то же самое», только малярша, пискнув, что все как в Анапе на дегустации, осмелилась поинтересоваться, нет ли сладенького. И ей тотчас с нижней полочки из-

влекли портвейн года, когда маляршины родители только сыграли свадьбу на окраине Николаева, на которой сама она была представлена пятимесячным животом под платьем невесты, о чем и сообщила всем присутствующим, вызвав бурные ахи и вскрики «дорогой, наверное».

— Вы понимаете, кто я? — спросил вдруг вельможа, очнувшись от глотка. Вопрос его прозвучал неожиданно еще потому, что голос вельможи был громким голосом нетрезвого человека. К тому моменту некоторые пообвыкли, стали прихлебывать поактивнее, а прораб и вовсе хотел было плеснуть себе добавки, но официант опередил и подлил сам, уже из другого, указанного освоившимся прорабом, флакона.

— Конечно, понимаем! — закивали с готовностью гости, и только Вера молча улыбалась, но не было в ее улыбке насмешки.

Вельможу этот ответ, казалось, устроил, и он снова сосредоточился на проглатывании раритетной жидкости, кроша костяными пальцами податливый хлеб.

Строем явились официанты. Так входит в камеру приговоренного расстрельная команда. Числом официанты равнялись гостям, у

каждого в руках по оловянной тарелке, накрытой тускло поблескивающим колпаком. Официанты замерли за спинами гостей, вызвав некоторое волнение, как бы не пристукнули сзади. По кивку метрдотеля они разом подняли колпаки, обнаружив дымящееся мясо.

Ошеломленные гости схватились за вилки, но вельможа снова заговорил.

— Нет, вы не понимаете, кто я, — слова он произносил отчетливо, но скорость, с какой они покидали его рот, с каждым слогом снижалась.

— Кто я — и кто вы, — он оглядел стол глазами, которые вдруг оказались не спелыми ягодами, а давленной забродившей вишней, рачительная хозяйка успела сделать на ней три настойки, уже ни вкуса, ни цвета, ни аромата, и впору нести на компост, где склюют куры, после чего станут валяться в грядках, глупо кудахтая.

Нетерпеливая малярша тем временем успела сунуть в рот отжатый вилкой, не отрезанный, как полагается, кусок мяса. Взгляд вельможи, ползающий по рукам и тарелкам, упал на початого маляршей оленя и застыл.

Перегнувшись, он схватил этот отжатый кусок своими не чувствующими жара пальцами. Сок и жир брызнули на рубашку, на лицо ему и малярше. На официанта, стоявшего на почтительном расстоянии, тоже попало.

— Вы не понимаете, кто я! — заорал вельможа, потрясая стейком. — Все вокруг — это я! Законы, которые завтра утвердят, придумал я! Слова, которые скажут по первому, второму, третьему и всем прочим каналам, написал я! Вы даже не догадываетесь о существовании книг, которые я прочитал! Вы даже не представляете, кто приходит ко мне на поклон! Я спас Россию, а вы чернь!

Он разорвал оленя надвое, обдав себя и сидящих поблизости новой порцией брызг, и швырнул половинки малярше.

— Жри!

Не оборачиваясь, он потянулся и пошарил рукой за спиной.

Официант услужливо спросил, чего господин желает, но господин, не слушая, схватил первое попавшееся горлышко, поднялся на нетвердые ноги, пальцы его скользнули по бутылке, на которую он оперся. Бутылка упала, и многотысячной цены жидкость полилась на

ковер. Официант бросился поднимать и закупоривать, а вельможа схватился за другое горлышко, вытащил пробку и стал расплескивать по стаканам.

Коньяк заливал скатерть и колени. Бутылка опустела, он изловил другую и остаканил тех, кому не досталось.

Все замерли, но вельможа, глаза которого совсем скатились к полу, внезапно пить раздумал и, не попадая в рукава, полез в пиджак, хорошо, официант подоспел, справился, вытер ладони о его фрак, сунул в пустоту тотчас подхваченный ловкой рукой один комок, другой, третий... Купюрные жмыхи были мгновенно расправлены, бегло пересчитаны взявшимся откуда ни возьмись мэтром и его кивком одобрены.

Возле портьеры вельможа задержался. Он принялся вытаскивать из всех своих закров банкноты, вернулся к столу и давай награждать.

Все брали с почтением. Вера тоже поблагодарила.

Не от радости наживы, а из жалости.

Очень ей вельможу жалко стало, и он, поняв это спутанным, но трепыхающимся еще

умом, замялся возле нее и улыбнулся глупо, зло и обреченно. И стало заметно отсутствие бокового зуба.

Он желал что-то сказать, но вместо этого поднес к ее лицу кулак и посмотрел прямо в глаза, впервые. Так они друг на друга некоторое время глядели, а потом он кулак отнял, Веру по макушке потрепал и сгинул за портьерой, на этот раз навсегда.



Россия и раньше своих женщин не особенно-то жалела, а в последние годы распорядилась ими и вовсе щедро — морально неустойчивых за рубеж, в объятия изнуренных половым равноправием атлантических женихов, патриотов обрекала на тщету интернет-знакомств, затеянные от безнадёги беременности и одинокое воспитание нового поколения.

Кавалеры, разбалованные своей малочисленностью, стремительно превращались в ленивых, самодовольных увальней, потому что нет лучше способа ослабить, чем одарить привилегиями.

Вера была одной из немногих, кого такое положение не тревожило. Она даже кольцо в периоды обострений мужской активности носила, чтобы отшивать аргументированно.

Она не была вроде манекенщиц с обложки, но мужчины очень любили подниматься следом за ней по лестнице и отмахивали порой не один лишний пролет. Про волосы и глаза уже говорилось. Засыпала она быстро, спала крепко, просыпалась всегда горячей и розовой, будто каждую ночь ее выпекали заново, на усладу новому дню. На фотографиях получалась прекрасно без всякой ретуши, вся была какого-то чрезвычайно приятного оттенка и на ощупь очень хороша, и аромат распространяла влекущий, хлебопекарный.

За ней бегали типы самые разные, гангстеры-меценаты и топ-менеджеры-рекламодатели, примодненные чиновники, светские завсегда-тай и титулованные спортсмены.

Не раз звали замуж, чтоб все красиво.

В отличие от сослуживиц, она не торопилась, предложения, самые завидные, отвергала, отдавая предпочтение несерьезно настроенным умникам. Со времен общения с Мишкой тяга к тренированным телам смени-

лась у нее интересом к разговорчивым и начитанным.

Одним из первых ее увлечений на родине стал вполне воспитанный, деловой и педантичный. Даже, пожалуй, слишком.

Был он чрезвычайным аккуратистом и стоял на страже всевозможных законов и правил, преимущественно ПДД. Ни одна поездка не обходилась без его недовольства другими участниками дорожного движения. Творили неопишное – перли на красный, не смотрели в зеркала, плевали на поворотные огни, норовили обогнать по обочине. Управление автомобилем выявляло его сходство с итальянской церковью – скромный и сдержанный внешне, внутри он бушевал красками и картинами Страшного Суда.

Однажды ехали в театр, и угораздило какому-то ловкачу их подрезать. Ладно бы только это, так мерзавец на перекрестке еще и скомканную пачку «Парламента» из окошка выбросил.

Тут Верин не выдержал.

Выскочил, стал дорожному хулигану дверцу пинать, зеркальце бейсбольной битой снес.

А тот оказался не из робких и не слабак. Даже Вере подзатыльник достался.

Когда все улеглось, она предприняла попытку обсудить. Мол, не стоит так горячиться. Он вспыхнул, как синтетическая занавеска, и обвинил ее в предательстве. Ему нужна единомышленница, а не пятая колонна и власовка.

И руку на нее поднял.

Годами позже один ее коллега, единственный в коллективе паренек, болтушка и потаскуха, показал фотку нового дружка. Скрытного, но ненасытного.

И Вера узнала в нем своего бывшего педанта.

Позже встретился молодой служащий. Нормальный, хозяйственный, с рабочим графиком «пять-два» и продуктовыми закупками по выходным. Пешеход.

Проживал в недавно доставшейся по наследству маленькой уютной квартире с видом, немного, правда, наискось и между соседними домами, на боковой куполок храма Христа.

Едва зажили совместно, все и открылось. Однажды утром Вера попросила купить ей у метро колготки. Он мгновенно изменился и, несмотря на бурные ночные выходы, вопреки хорошему завтраку и солнцу, свет которого умножался краешком храмовой нахлобучки,

не замечая всех этих очевидных достоинств бытия, разразился криком.

Он так и знал. Вера, как и прочие, хочет его обогнать.

Хочет заграбастать квартиру.

Вселиться.

Была одна такая, линзы просила купить. Он купил, хотя знал, дай палец — руку откусит. И что б вы думали — походила в линзах, а потом объявила, что он ее не удовлетворяет. Собрала вещички, его зубную пасту, между прочим, прихватила, и сбежала.

А линзы не вернула.

И деньги за них не вернула, хотя чек он на видное место положил.

Вера прочла о женской психологии, узнала, что женщина — это земля, должна все принимать и всему подчиняться, побывала у астролога и уже готова была обратиться к своим подростковым предпочтениям — караулить возле качалки или пивной, но вышло иначе. Один начитанный говорун и мыслитель, который Веру долго осаждал и обещал что-то в ее честь назвать, что именно не ясно, потому как ничего, кроме абзацев о злободневном, не производил, так вот, этот ее захомутил.

Жил он тем, что регулярно рассуждал в письменном виде, реагировал своевременной, а порой и упреждающей острой фразой на мировые колыхания. Характеризовал и формулировал. Будучи флюгером, чутко улавливающим общественные дуновения, помышлял о месте кукловода, трогательно полагая, что не сам вертится по ветру, а своими манипуляциями ветер организует. В свободное время писал новую Конституцию, был отчаян и лишь едва заискивал перед сильными, уж очень боялся погромов.

Сумрачным вечером Вера приняла его приглашение.

Ее ждала освещенная редкими фонарями улица дачного поселка, в конце которой стоял старый дом, пропахший и кривой.

Обстановкой владелец очень гордился, всем видом своим сообщая, что он не выгола, а преемник знатных предков. И дом сохранился, и фотографии по стенам, и трофейная германская мебель, которую не сам привез, здесь купил забронированный от фронта дедушка-профессор.

Устроившись на продавленном диване, Вера пила чай из треснутого ленинградского фарфора и думала, как бы улизнуть.

Владелец молча вперился в нее близоруким, притупленным бесконечной писаниной зрением. Она уж подумала, не впал ли он в транс, и собралась было пощелкать перед его носом пальцами, когда он совершил внезапный наскок и, опрокинув остывшую, к счастью, чашку, придавил Веру к засиженной почтенными задами обивке.

Нависнув над ней, прыгучий поклонник принялся читать одно из тех стихотворений, которые романтики этого типа всегда исполняют в подобных ситуациях.

И смотрел так, будто собирался потребовать повторить без запинок.

Покончив с рифмами, он сообщил, что говорил о Вере с мамой, что мама против, а когда мама против, у него стояк.

Отчасти из любопытства, отчасти повинувшись какому-то гипнозу, Вера уступила, и с появлением за окнами белесой сырости, означающей рассвет, мамин сын совершил над нею что-то необременительное и даже приятное.

Он оказался деспотом. Принуждал расхаживать по комнатам в чулках. А дом старый, повсюду щели.

Подробно расспросил Веру о семье и очень обрадовался, узнав о ее, как он выражался, народном происхождении.

Его волновала Верина, выдуманная им же самим, распушенность. Он требовал, чтобы везде она появлялась в едва приличных, даже по меркам нашего далеко не пуританского времени, нарядах, тщетно подстрекал к развратным действиям с другими, закатывая при этом регулярные сцены ревности.

Природа этой игры была понятна, но утомляла. Оказавшись на полугаремном положении, Вера должна была не только быть путаной в постоянной готовности, но чистить и жарить картошку, очень им любимую, собирать по дому грязную одежду, однако это не так угнетало, как его мама.

Нестарая еще, бравая женщина, воспитавшая в одиночку, пожертвовавшая молодостью, всю себя вложившая, подарившая сыну столько заботы и образования, что воспринимать других и себя без презрения он просто не мог. Так вот, эта славная дама являлась в

любое удобное ей время, отпирала своим ключом и принималась распекать Веру за то, что ее сыночек перекормлен, что в доме не прибрано, а сама она одета, как женщина легкого поведения.

При маме он либо тушевался, во всем принимая ее сторону, либо, напротив, орал, обвиняя в нарушении права на частную жизнь. Тогда она делала большие глаза и заявляла, что все понятно, «эта девка тебя настропалаила».

При всем при этом мама не дура была гулянуть, наверстывала. Об очередном романчике сообщали укорачивающиеся юбки, густая «шанель», резкий дрейф цвета нарядов в сторону оттенков розового и яркий макияж. Все это делало ее похожей на уцененный помятый цветок.

Вера приняла решение, когда однажды они оказались за столом с иностранцем.

Приехал знаменитый художник, а может быть, режиссер, и собралась компания, местный, как говорится, олимп. Шумно общались, обильно заказывали. Ее умник сибаса попросил на гриле.

Иностранец русским владел прекрасно. Всеми падежами и причастиями.

Навострился, пока Россию любил.

И в пылу спора то ли, как водится, о роли русских в самой страшной войне в истории, то ли о чем-то сопутствующем Верин спутник рыбку, наполовину обгрызенную, отодвинул и давай иностранцу по-английски растолковывать.

И вот умник говорит и говорит, и бегло, ловко, надо заметить, шпарит, фразы строит, идиомы вворачивает и акцент не позорный, а иностранец ему по-русски да по-русски. Умник ему английскую тираду, а тот ему русскую посьловицу. И так без остановки.

Дело в том, что умник мечтал нравиться.

Тем, кого с детства боялся.

Которые отвешивали пенделя в школе.

Которых отгоняла наседка-мамаша.

Которые срывали с него шапку и засовывали за шиворот глазированные сырки.

Спустя годы бедняга все еще презирал, ненавидел их и грезил, грезил, грезил, чтобы взяли в компанию, приняли за своего, хлопнули по плечу крепкой ладонью.

И это свойство управляло всеми его решениями и поступками, всей его жизнью. Горячо говоря тогда за столом об особом русском

пути, о необходимости справедливых репрессий и прочей великодержавной атрибутике, он то и дело бросал робкие, ищущие одобрения взгляды в сторону прочих застольных, среди которых сидели бруталы из ультраправых, крепкие леваки и второстепенные придворные из числа недавних футбольных болельщиков.

В пылу он не заметил, что все от его продолжительного соло приуныли.

Кто водки еще заказал, кто сигарету лишнюю запалил.

У мрачноватых слушателей с крепким телосложением, ради которых он расстарался, начала пробуждаться ненависть. Та особенная ненависть, которую сам не ощущаешь, которая является вдруг, как бы без причины. Группы с десятками ножевых ранений являются результатом именно такой ненависти.

Иностранец отвечать перестал и только лыбился снисходительно.

А умник все ловчее его уделывал по-английски и даже на французском и латыни вкраплял, не замечая, что давно проскочил станцию, когда положение его было забавным, оставил в дымных клубах полустанок

«Комический» и давно несется один по степи собственной нелепости, и рельсы вот-вот оборвутся, и он угодит в яму, из которой, по крайней мере в глазах Веры, выбраться не сможет уже никогда.

Связавшись с ним в ноябре, Вера сбежала с первой майской грозой, и небесный грохот поглотил хлопок двери. Вера ступала по опадающим на затоптанную лужайку лепесткам и отирала капли, сыплющиеся то ли с неба, то ли с потягивающихся после зимней спячки веток. Она отводила мокрую прядь и улыбалась, как улыбаются девушки в кинофильмах минувших романтических времен. Покинутый сквернословил ей в спину.

Извлекать барыш из своих достоинств Вера, как и мать, так и не научилась, копить не умела. Сделавшись высокооплачиваемым сотрудником, она быстро привыкла жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, и даже с избытком. Заказав такси, любила задержаться, чтобы испытать удовольствие от оплаты одного-двух часов ожидания. Вызывала маникюршу по ночам, потому что днем работа, на выходные летала на пляж первым классом. Штучные платья, галерейные открытия в раз-

ных концах света, недолгое, к счастью, увлечение белым порошком из группы сложных эфиров, одним словом, Вера злоупотребляла.

Она никогда не принимала финансовой помощи, напротив, снабжала деньгами всех, кто нуждался. Ссужала не справляющихся с ипотекой коллег, жертвовала на беспризорников, волонтерствовала в больнице для неизлечимых.

Мыкаясь довольно беззаботно, она однажды повстречала банкира, и тот поведал ей пышную и вместе с тем расплывчатую историю о собственном фонде с фантастическими перспективами, который претерпевает не лучшие времена. У нее как раз накопилась цифра для авансового взноса за собственную жилплощадь, но рассказы банкира отвлекли.

– Квартира хорошая. Район, соседи.

Представительница собственника, на азиатской манер мягкая и скругленная, перекатывалась по паркету, нахваливая объект.

Единственным украшением стен был ковер с девушкой, пробирающейся сквозь густой бор с корзинкой в руках.

– Ты здесь все прекрасно устроишь, – проворковал банкир, – с твоим-то вкусом.

Он предложил оплатить весь срок вперед и выторговал скидку. Скругленная согласилась, настояв на оплате жильцами воды, телефона и, разумеется, электричества по счетчику.

Вере было хорошо оттого, что он взял на себя переговоры. Она сжимала его руку, но скоро вынуждена была отпустить – требовалась подпись.

Пересчитав стопроцентный аванс, агент недвижимости позволила себе высказывание.

— Очень рада, что нашла приличных клиентов. Сплошь нерусские ходят, таджики непонятные, кавказцы таборами. Дышать нечем. А самое ужасное, когда видишь русскую девушку с таким. Это ж как надо себя не уважать. Желаю вам счастливо здесь жить и ребеночка.

Она оказалась из той породы, кто до поры помалкивает, а когда настает время прощаться, начинает тараторить. Между фразами она дружелюбно скалилась, обнажая темные десны, и банкир подумал, что другие ее интимные участки так же темны.

Она схватила Веру за руку, бесцеремонно вывернула ладонь и взгляделась.

— Мальчик. Одаренный очень.

Вера рыпнулась, но спонтанная гадалка держала крепко.

— Вы не думайте, я умею. У меня все рожают. А у одной стал живот надуваться, но нет у нее ребенка в руке и все. Смеялась надо мной, а через две недели того, выкидыш.

— Нам еще вещи перевозить... — прервал банкир, которому болтовня про материнство

и детство показалась неуместной. И он пока-
тил риелторшу к выходу.

— Хозяйка просила ничего не выкидывать.
Табуретка, люстра, ковер... — протиснула та
напоследок.

Вера стояла у окна, когда банкир, выпрово-
див наконец сивиллу, подошел к ней.

Обнял. Приник.

Спросила, когда рейс.

Ответил.

Она отстранилась, пора.

Между ними дрыжками пролетела неиз-
вестно откуда взявшаяся моль.

Предприняв несколько хватательных дви-
жений, он размазал насекомое в графит. Не
зная, обо что отереться, сунул руку в карман.
Предпринял попытку поцелуя.

— Не надо.

— Не обижайся.

— Я не обижаюсь.

За стеклами творилась безжалостная в сво-
ей прелести, уверенная в собственной беско-
нечности, тридцать девять раз умершая и воз-
родившаяся весна.

Вчерашние метелки деревьев окутались
зелеными клубами. Зацвели совершенно раз-

нужданно, чуя, что гулянка продлится недолго, пока свежий ветер не сметет лепестки и не раздует почки в пышные кущи. И они поглощают дома и людей, вспенятся так, что весь мир замаскируют от бога гнева и милости, а он, старый, про свою вотчину позабывший, потом вдруг чихнет, и листва сохнет, осыплется, открывая города, дороги и все остальное.

Все теплокровные беззаботно ликовали, и только мамы усилили надзор за чадами, чтобы не достались педофилам. Весенние же педофилы, преследуемые и гонимые, трусливо рыскали по виртуальным пространствам и, потеряв сон, тоскливо разглядывали желтый стикер луны, лепящийся к недолгой, кажущейся бесконечной ночи.

Вера смотрела в окно, а сама была не здесь, не в арендованной на одиннадцать месяцев, чтобы не декларировать договор, однокомнатной. Не с бывшим уже, который муржил шесть лет, тянул с ребенком, потому что больная мать, а когда та умерла, выяснилось, что другая, помоложе, подсуетилась, и теперь он вынужден Веру оставить, проявляет благородство — не желает обманывать, и вообще Вера слишком для него хороша.

С молодой же он теперь уезжает в Лондон, где есть завязки. А здесь повестка пришла, вызывают свидетелем. Сегодня свидетель, а завтра известно как бывает. Да и рожать там лучше.

А ей отступные — аренда малюсенькой, чтобы уютнее, квартирки на год вперед. Точнее, на одиннадцать месяцев.

Вера хотела броситься, обхватить ноги, как в детстве обхватывала ноги отца, и отец ходил, перенося ее, вцепившуюся обезьянку. Ей даже показалось, что обхватила, но, когда дверь за банкиром закрылась, она по-прежнему стояла перед окном, за которым был волдырящийся куполами, рассыпающийся рафинадом многоэтажек, пыряющий заточкой телебашни город.



Вера перевезла весь свой быт. Пластиковые короба, перемотанные картонки, скорлупу чемоданной пары, брезент и кожу дорожных сумок. Развесила ткани, расставила фарфор, в уголке притулила иконку со стойкой девочкой-подростком — своей святой

покровительницей. Иконки Вера немного стеснялась, оправдываясь для самой себя и прочих детской привычкой, а вовсе не тягой к дремучим культам.

Свободного времени хватало, уже почти два года журнал, в котором она была занята, закрылся, и банкир отговорил искать новую занятость. Тогда она настроилась серьезно: квартира, духовка, общий досуг, его громадные тапки и ее миниатюрные. Доверительные отношения, основанные на любви и уважении. Книжку прочла, как жить с одним мужчиной и не захиреть.

Когда избранник в одностороннем порядке вышел из их затянувшейся предбрачной партии, Вера попыталась вернуться к работе. Тут и стало очевидно, что индустрия печатных фотосессий, интервью и гороскопов переживает куда более сильный кризис, чем она полагала. Издания закрывались, а за редкие вакантные места велась беспощадная битва между претендентками моложе ее и ловчее.

Новое жилище Вера покидала редко. Както вечером, когда жала отбойников расковыривали потрескавшийся за зиму асфальт, когда

накладывали и укатывали новый, дымящийся и пахучий, когда гул моторов и грохот глыб аккомпанировали соловью, Вера привычно сидела в сумерках перед погасшим тачскрином.

Соседи сверху бранились, иногда посыпался разбуженный загулявшим жильцом лифт. Вера откинулась на спинку кресла и неизвестно сколько бы находилась в таком положении, если бы вдруг не почувствовала на себе взгляд.

Девушка с ковра глядела прямо на нее.

Вера топнула по выключателю торшера — комната осветилась сотней золотистых ватт. Люстра добавила еще триста. В ярких, едва не слепящих лучах стало ясно, никто на нее с ковра не смотрит, зато отовсюду лезут изъяны: на стенах пятна, на потолке трещины, по углам паутина.

Она поймала свое отражение в окне, приблизилась.

Блеклые губы — подкрасила, светлые ресницы — подвела.

Она стала скоблить плинтусы, выцарапывать грязь из щелей, отколупывать капли засохшей краски, прижившиеся на стеклах со времен давнего ремонта.

Сколько ни терла, чище не становилось. Напротив, квартирка юродствовала, делаясь как будто грязнее и обшарпаннее, выворачивая наружу все новые недостатки.

Стало трудно дышать. Будто она разгребает песок небытия, а он все прибывает. В окна, через вентиляционную решетку, сыплется из кранов, поднимается из сливов, наматывается под дверь. И так его много, что она не справляется, и песок засоряет глаза, забивает дыхательные пути, и она прекращает быть, сама сделавшись песком.

Подобные приступы начали случаться с ней после того, как отец отстриг ей косички. Она стала нуждаться в чем-нибудь грубом, даже смертельном, но чтобы пульс, хоть на мгновения, затыкал в вене. Девочкой, томимая неподвижной окружающей атмосферой, она воображала ядерную войну, потом рассчитывала на инопланетян, потом на солнечное затмение — думала, наступит тьма, подует ветер, и люди станут крючиться, как в кино. Подростком ждала комету, позже миллениум, а после нескольких лет затишья стала возлагать большие надежды на швейцарский адронный коллайдер. Тогда многие у нас счи-

тали дни до пуска этого технического чуда. Вот врубят, и начнется. Коллайдер включили да и выключили, что-то в нем недоработали. Потом, кажется, снова включили, может, этот коллайдер и по сей день вертится, но повлиять ни на что не может.

Теперь жажда катаклизма в одночасье вернулась. Чем нежнее становился ветер, чем отчетливее слышалось мурлыканье парочек, чем острее был запах свежей краски, которой замазывали скамейки и ограды, тем сильнее хотелось, чтобы все вожделенные катастрофы немедленно произошли. Отшвырнув тряпку, не поправив волос, не переодевшись, Вера выскочила за дверь.



С отъездом банкира обнаружилось, что она совершенно, в самом натуральном смысле одинока. Товарки повыскакивали замуж, а семейные пары не любят поддерживать отношения с незамужней и привлекательной. Муж боится, что такая подтолкнет его половину к гулянкам, жена — что муж оступится.

Друзей-мужчин не было, банкир-собственник ее огораживал, а редкие прорвавшиеся сквозь его ревность интересовались ею только как предметом реализации незамысловатых эротических фантазий и теряли всякий пыл, даже делались недругами, едва поняв, что поживиться не выйдет.

Вера была все еще очень хороша, но повсюду сновали представительницы новых поколений, находящиеся в разных фазах цветения молодости. Она чувствовала, что пространство вокруг нее, всегда искрящее от мужских взглядов и неприличных предложений, обращается в штиль и скоро будет напоминать вакуумную пустоту. Привыкнув, что поблизости всегда кто-то вьется, Вера теперь напоминала корабль-долгострой, который решили на воду семейной жизни не спускать, а разобрать стапели. Последнюю подпорку вот-вот уберут, он завалится набок и будет медленно ржаветь, служа печальным примером.

Того и гляди придется переходить, как многие ровесницы, на вахтовую любовь — полгода томишься на родине, полгода рыщешь по азиатским пляжам, чтобы хоть по-быстрому

пригреться возле одного из тамошних торговцев бусами.

Она зафиксировала свое отражение и разместила на сетевой страничке. Никто не похвалил даже из жалости, лишь какой-то хмырь похабщину написал в личку.

Как-то раз она шла по тротуарам без всякой цели и не сразу услышала, что ее окликают.

— Оглохла, подруга?! — в самое лицо крикнула ей Наташа, смутно опознанная институтская знакомая.

Наташа складывала в блестящий автомобиль картонные пакеты с гербом роскошного магазина напротив. Рядом толкались два мальчика, лет семи и десяти, из той породы сытых царственных отпрысков, портреты которых регулярно размещали в родительской рубрике Вериного журнала.

Нельзя было сказать, чтобы Вера встрече обрадовалась. Она просто не стала противиться Наташе, а той и объяснять ничего не требовалось.

У одного из мальчишек, Вера не поняла у которого, скоро день рождения. Соберутся знакомые, мелких изолируют в детской, а

взрослым — выпивка, веселье и неожиданные встречи.

Последние слова Наташа произнесла выразительно.

Перспектива оказаться в доме замужней, явно при деньгах, не привлекала, но от Наташи было не отцепиться. И Вере вдруг захотелось покорно пойти, куда зовут, прикорннуть и отдаться.



Владения Наташи встретили стриженной травой, дрожащими языками факелов и гроздьями надувных шаров. Веранда кипела киловаттами в клетке оконных рам.

Помешкав на ступенях, ловя запахи майского газона, Вера ступила в пекло, и ее сразу захлестнуло детскими голосами, заволокло запахами обеспеченных, устроенных и борющихся с лишним весом.

Вдоль стен громоздился ансамбль модной мебели. Электричество сверкало в хрустале сосудов, перламутре губного блеска и полированных поверхностях. Смуглые плечи дам и блестящие лбы кавалеров густели множе-

ством оттенков благополучия. Обстановка была точно, как в Веринском журнале о дорогих интерьерах, какой и должна быть обстановка у достойных людей с развитым, уравновешенным вкусом.

Хозяин дома, супруг Наташи, напоминал борца, идущего на противника. Про таких говорят, что по внешности не судят. Если он и не убивал своими руками, то вполне мог бы. Впрочем, человеком был явно не злым.

Гости подпитывались от столов с напитками и закусками, из-за которых улыбались юные лакеи. Вера забилась в угол, неподалеку от сидящей в кресле мамыши с южной внешностью, чья дочь, младшеклассница, то и дело подбегала за вкусненьким. Угощения в детской девочку не удовлетворяли.

Мамаша задарма не баловала, требовала стишок или название столицы далекого государства. По традиции колхидско-каспийского высокого происхождения она говорила с дочерью по-английски или, в крайнем случае, пересыпала свою речь английскими словами. За правильный ответ девочка получала лакомство, а неправильный ее оного лишал и обязывал сделать запись в специальной те-

традке — Книге Ошибок Жизни, подлежащих исправлению.

Наведывалась девочка часто, что вызвано было либо ее прозорливостью, либо избытком знаний. Она так разошлась, что крутанула гимнастическое колесо, завершив его шпагатом. Чудеса ловкости вызвали ленивый восторг, девочка получила умеренный, чтобы не разъестся, кусочек ягодного пирога, и только по Наташе было видно, как она едва сдерживается, наблюдая за южной мамашей, норовящей ее переплюнуть.

Присутствующие дети сплошь были воплощенными мечтами взрослых. Того мальчика отправили учиться в открыточную горную страну, потому что отец в его годы и помыслить о подобном не мог, а та девочка побеждает в конкурсах, о которых мать в свое время не слыхивала.

Повсюду торжествовал аристократизм вроде того, что встречается у стюардесс, обслуживающих первый класс. Прибирая за состоятельными подопечными, стюардессы начинают поглядывать сверху не только на коллег из «эконома», но и на их пассажиров. Аристократизм насмотревшихся.

Вера была подавлена, все ей было не так: лица казались надменными, улыбки вызывали подозрение, собственное платье представлялось немодным, приехала без сопровождающего, машинку свою подержанную специально подальше бросила, даже ребенка при ней не было. Такие показатели ставили ее на самую низкую ступень женской состоятельности.

Гостей меж тем разделила половая принадлежность.

Мужчины спорили о достоинствах и недостатках той или иной модели огнестрела, о недвижимом имуществе в теплых краях, о народе, о том, готов ли народ к свободе, и приходили к выводу, что не готов.

Женщины обсуждали театры, очередное переустройство дома или сада, и каждая успела хотя бы по разику справиться у Веры о муже и детках.

Нет?

А почему?

Ой, зря. Детки — от хандры лучшее средство. Лучше шопинга и заграницы. И (шепотом) кокаина... Сейчас такие технологии — я однажды троих разом принесла.

Детородные ударницы строили на лицах сострадательность и настойчиво советовали не забывать о неумолимых биологических часах. Искать местного, иностранца, анонимного донора, хоть кого. Впрыгивать в уходящий вагон. Советчицы наседали, и некоторые мужья, привлеченные Вериными кудрями и разговором, присоединились и стали совсем по-свойски ее отчитывать. Нельзя быть репродуктивной эгоисткой, надо рожать побольше русских.

Веру спас тост Наташи за здоровье хозяина дома. Пока та нахваливала своего медведя, надежного мужа, заботливого отца, верного слугу государства, Вера сдерживалась, чтоб не проорать:

Я вас ненавижу и презираю!

И завидую вам!

И боюсь быть такой, как вы!

И мечтаю быть такой.

Она выскользнула из окружения, поблуждала, наткнулась на горизонтальную плоскость, заставленную питьевым стеклом с отпечатками губ, увидела предназначенный для зажигания свечей коробок.

Стала чиркать и смотреть, как бежит огонь, как деревянная плоть чернеет и гнется. Спички гасли, она зажигала новые и думала, сколько у нее теперь могло бы быть деток. Вспоминала, прикидывала. Тот бы сейчас школу заканчивал, а эта бы только пошла в первый класс.

Наташу нельзя было упрекнуть в невнимательности. Огласив очередную порцию восхищения супругом, она передала слово какой-то болтушке, подошла к Вере, забрала коробок, чиркнула и сунула в рот.

И достала спичку уже потухшую.

И дымком дыхнула.

И повлекла Веру комнатами.

Мимо игровой, где, отодвинув приглашенного клоуна, их сынки разбирали подарки, позволяя гостевым детям играть чем попроще и узурпируя лучшее.

Мимо библиотеки, где декоративные панели в виде книжных корешков, маскируя ироничные детективы, имитировали «умную» литературу.

Мимо компактного рояля, на крышке которого сидел вполне натуральный карликовый терьер — любимая собачка Наташи, недавно

почившая, по просьбе безутешной хозяйки выпотрошенная, вымоченная, пропитанная, набитая соломкой и отныне вечная.

Наташа потрепала точно такого же, вертевшегося в ногах, и потащила Веру дальше.

Среди всей этой обстановки, где и хозяева, сколь ни обживались, выглядели чужими, за одной из полуприкрытых дверей Вера мельком увидела стену его кабинета. Позади широкого и пустого, словно покинутый аэродром, стола на стене была роспись — густой еловый бор.

В этой мелькнувшей лесной сцене, совсем не вяжущейся с ледяной безупречностью других помещений, проявлялось его упорство, сопротивление дизайнеру, жене, не желавшей понять и принять вздорную интерьерную самодеятельность мужа, и что-то еще, неясное, но куда более могущественное.

Вера готова была спорить, что отец семейства, борец и вероятный убийца, запирается иногда здесь и смотрит в нарисованный лес. И благоухающая прохлада, запахи мха и хвои овевают его, питают что-то иррациональное, бессмысленное и русское, что теплится на дне его законопаченной откатами и решенными вопросами души.

Наташа, приехавшая в город на семи кол-мах сразу после окончания школы, добилась полного потребительского триумфа. Ее детство состояло из непригодного закутка, облупленной эмали, окошка с замазанными трещинами, а за окошком яма, кое-как закупоренная будкой сортира, и вся Россия позади. Единственным лакомством была разогретая на сковородке и остуженная, перемешанная с солью, скатанная в комочки сметана. Если есть с закрытыми глазами, от черной икры не отличить. Рецепт якобы исходил от выдавшей виды секретарши начальника ГУВД. Ей можно было верить. Наташа произрастала из слежавшейся, утрамбованной нищеты, которую и огонь не возьмет, потому что память не воспламеняется.

И вот она вырвалась с полиэтиленовым пакетом, где пара застиранных вещичек и банка собачьего жира от простуды. И у нее теперь семья по всем понятиям, дом, сыновья, муж-кормилец. Чего еще может желать обыкновенная, соскальзывающая к сорокалетию россиянка с отзывчивой целью, исправным желудком и здоровыми косметико-кутюрными потребностями.

Когда они добрались до самых недр, до хозяйской спальни, Наташа толкнула Веру на бархат покрывала и нависла над ней отшлифованным спортом и регулярным массажем, слегка лишь ненатуральным телом.

Она посмотрела на Веру и вдруг нанесла ей такой поцелуй, что сначала захотелось отпихнуть, потом расхотелось, а потом уже сама не знаешь, чего хочется, потому что себе больше не принадлежишь, и вообще не существует никакого «я», только тягучее марево.

— Запустила ты себя, — ласково пожурила Наташа, перебирая Верины кудри. — Седину не закрашиваешь. — Меня вон мать не кормила, сиськи не выросли, и что я, скисла? Грудь вперед, и пошла, — и Наташа повела расправленными плечами, демонстрируя деликатную, но выпуклую работу хирурга.

Вопреки кажущейся самоуверенности, Наташу терзали сомнения. Она не могла избавиться от чувства, что муж, сыновья, банковская карта, членство в спортклубе, ответственность, — что все это ей не принадлежит. Каждое утро проверяла имя вкладчика, цифры на счете, караты, номера свидетельств, но непрекращающаяся течь истощала ее. Она

накупала продуктов больше, чем могло употребить семейство, с расчетом вскоре обнаружить плесень и с наслаждением выбросить. Она нанимала и увольняла прислугу, летала на сутки за тысячи километров, жертвовала нуждающимся, делала все, что и Вера когда-то себе позволяла, но не из-за беспечности, а ради того, чтобы ощутить свое пространство и место, поверить в систему координат, убедить себя и других, что это все она и это все ее.

В первые годы она, тьмутараканная оборванка, без денег, связей, фигуры и милой мордочки, по утрам бежала на лекции, а потом до поздней ночи тарелки грязные в кабаке собирала, а в остальное время старика, заживо тлевшего, подтирала за право бесплатно ютиться на соседней койке зловонной комнаты возле кольцевой.

Она со своим лицом, похожим на подъезд шестнадцатизэтажного панельного дома, имея на руках шваль, которой ее наделили природа и непутевые родичи, разыграла свою партию с такой ловкостью, так хитрила и блефовала, что все козыри покрыла, а у этой столичной цыпы, распростертой теперь перед ней, золотые деньки пролетели, ни денег, ни детей, ни

мужика. Щемящая радость от совокупности фактов бодрила Наташу.

Если спросить ее, так ли это, ни за что б не признала. Она и сама до конца не осознавала весь масштаб своих чувств к Вере и подобным. А доброго совета, сострадания ей не жалко, она и средствами может ссудить, не обеднеет, ейный еще нагребет. Зато сколько потаенной радости, если Вера не сможет вернуть. Если начнет юлить, просить отсрочки, мелочь ненужную мальчишкам таскать, а потом исчезнет, перестанет отвечать на звонки и сменит номер. Тогда Наташа в счастье будет плескаться — честная, порядочная, не приезжая, прячется от нее из-за неспособности отдать пару-тройку тыщенок зелени, изводит себя укорами, начала выпивать, проклинает судьбу и покоя не ведает ни днем ни ночью.

— Ребеночка тебе надо, — дышала Наташа, пока ее пальцы наматывали и распускали Верины пряди, касались шеи, вскрывали кокон платья. — Думаешь, откуда мои взялись? Думаешь, я подгузники люблю менять или этого к себе привязать хотела? Я себя кончить хотела с тех пор, как меня в четырнадцать отчим отымел. Я его в каждом мужике вижу. Глупо,

но не в моей власти. А мелкие хоть как-то примирают. Первого родила — отпустило. А когда снова стало накатывать, чпок — и второй. Я бы еще одного заделала, так тошно иногда, ни таблетки, ни вискарь не помогают, но после кесарева в завязке, доктора запретили.

— Ужасный человек. Я не знала... — хрипло отозвалась Вера.

— Кто ужасный? — удивилась Наташа.

— Отчим...

— Нормальный мужик. Я ему на праздники денегат посылаю. А вообще ушами хлопать нельзя. Я своего взяла, когда он только начал, на стадии котлована, так сказать.

Признания и вероломный интимный произвол обездвигили Веру. Она удивлялась себе и разгорающемуся огню, который отныне будет делаться только жарче, пока не сожжет ее, не спалит в прах, и из праха не прорастет она новая. И неизбежность этого, и страх этой неизбежности, и жажда ее встали перед Верой необъятной, пульсирующей картиной, за которой двумя неотвратимо приближающимися кометами пылали Наташины глаза. И она держалась за этот взгляд, сколько смогла, а потом сорвалась и полетела вверх тормашка-

ми, выгнулась, челюстью задрожала, и белки конвульсивно блистали в щелках под опавшими веками.

— Сейчас митинги. Оппозиция. Жулики и воры. Героям слава. Слыхала? Хорошего мужика найти трудно, но одна точно не останешься, — напутствовала Наташа, накрыв Верин рот ладонью. А потом к себе прижимала, когда та плакала.



Вернувшись к себе, Вера сразу прошла на кухню, отворила газ и распахнула духовку. Тонкий свист возвестил о прибытии приятной вони, которая сначала махнула по ноздрям и накрыла крепко. Опустившись на колени и придавив ручку пакетом сахара, чтобы струя не прерывалась, Вера нырнула в духовку. Пробыв в таком положении с минуту, хлопота горлом, отпрянула. Умылась, распахнула окна и рухнула на диван.

Одурманенная, она смотрела в стену, где висел ковер. Перед ее взором колебались тени и плыли пятна. Вдруг невидимая рука отодвинула ковер, и показался проем, по ту сторо-

ну которого топтались два темных громилы. Они норовили войти, но тыкались лбами о притолоку, не догадываясь наклониться. Наконец кособоко протиснулись, приблизились, потянулись к ней.

— Хорошие волосы...

Вера очнулась.

Изо рта натекло.

Ни один звук не нарушал пещерной тишины.

Ковер висел на прежнем месте.

Густой мох, еловые лапы, женщина несет корзинку.

Мать была красавица, красивее Веры. Колени изящнее, лодыжки тоньше, спина прямее, грудь пышнее. Волосы, пусть не белые, как у Веры, но пушистые, блестящие.

А взгляд у этой, на ковре, точно как у Веры — серебряный.

Интересно, что в корзинке? Грибы, ягоды, пирожки для бабушки?

Стало казаться, что еловые лапы покачиваются, женщина подходит ближе, того и гляди шагнет в комнату.

Вера, шатаясь, встала и приблизилась к нахалке.

Всмотрелась.

Пыльная красавица нуждалась в хорошей чистке.

Нащупав петельки, которыми ковер крепился на гвозди, прижавшись невольно к ворсу, Вера испытала отвращение. Будто вынудили надеть чужое грязное платье.

Задержав дыхание, принялась отцеплять. Освобожденный верхний угол ковра стал загибаться, заворачивая, закатывая ее. Еловые лапы обнимали, тканое лицо коснулось ее лица, губы запечатлели колючий синтетический поцелуй.

Оборвав последнюю петлю, Вера оттащила ковер от стены и, глянув на место, где он висел, обмерла. В темном квадрате невыцветших обоев была дверь.



Политика — дело мужчин, не потому что недоступна женскому уму, а потому что не способна женский ум увлечь. Женщину интересуют определенные вещи: жизнь и смерть, еда и голод, семья и одиночество. Вера не была исключением и за буднями страны и мира следила невнимательно. Послушав совета Наташи,

она поинтересовалась новостями и обнаружила удивительные страсти.

Физлица разделились на две неравные группы: девять из десяти причисляли себя к патриотическим силам, а один, порой помимо собственного желания, обозначался либералом. К последним относили всех, кто ставил личные интересы превыше прочих, патриотами же были остальные, не столь приземленные, измеряющие свои зачастую тесные неприбранные жилища государственным аршином, жаждущие величия державы, гордо реющего стяга и других поэтических ценностей.

Вера подумала, что женщины, традиционно пекущиеся об уюте и потомстве, по сути своей почти сплошь либеральны в пику патриотам-мужьям, мыслящим интересами народов и государств. Но теперь все перепуталось — многие хозяйки принимали горячее участие в борьбе, пока их недоумевающие мужчины учились готовить ужин.

Нация напоминала стадо, затоптавшее пастуха, объевшее пастбище и не знающее, как найти новое. Нация рылась в кучах старья, прикладывала к себе портреты истлевших

героев, ища сходства, цеплялась за прошлое, скреблась в ржавую броню и падала ниц перед крошащимися монументами, безутешно скорбела об утрате кусков географической карты, грозилась кому-то не всегда отчетливому, как когда-то престарелая Эстер грозилась видимым одной только ей обидчикам. Осознавшая вдруг, что молодость миновала, а наследство профукано, нация страдала скачками настроения, то делала выпады, то хохотала неприлично, вспыхивала гневом из-за пустяков, не замечая предметов существенных.

Улицы и площади то и дело заполнялись организованными колоннами сторонников официального курса и нестройными группами взволнованных малочисленных противников. Если первые требовали отъема у соседей исконно русских территорий, то вторые выступали за раздачу собственных земель, первые, размахивая святыми ликами, гоняли любителей однополых брачных союзов, вторые боролись за уважение к таким союзам и чуть ли не повсеместное введение однополый практики.

Вера посетила пещеру ночного веселья, но в ритмичной толкотне танцпола, проша-

риваемая одноразовыми взглядами, она с предельной ясностью поняла, что не хочет стать добычей охотников за суетливым интимом. С такими быстро станешь старой, в ажурных колготках и со злым лицом, какое часто бывает у женщин в ажурных колготках, утомленных нескончаемым поиском.

Оторвав от себя щупальца дискотеки, Вера вернулась домой и принялась изучать расписание протестных и верноподданнических выступлений. Обнаружив, что ближайшее в списке сборищ – протестное, Вера решила не пропускать, хотя политической позицией так и не обзавелась, купила новые брюки, подчеркивающие талию, сделала ногти и прическу.

Таинственную дверь она снова завесила ковром. Та оказалась заперта, и, решив, что хозяйка оставила во второй комнате какие-то свои вещи, а риелторша забыла предупредить, Вера перестала о двери думать.



Запоздавший май перевалил за середину, торопливо наверстывая и опережая график. Луковицы тюльпанов еще не были выковы-

рены из клумб, а сирень уже источала ароматы, голуби гонялись друг за дружкой, тряся головами на манер молящихся евреев, тополя роняли пух. Он был везде, в бордюрных и плитусных углах, в пересохших фонтанах, в чашках и рюмках, на рояльной глади рек.

Самые педантичные хозяйки, задраившись москитными сетками, опускали руки и со смирением смотрели на вальяжно летающие по интерьерам пушинки. Аллергики отекали и слезились, дети-поджигатели чиркали возле белых сгустков, которые вспыхивали мгновенными языками.

И пора это безобразие было смывать, но везде счетчики, это раньше лей не хочу, а теперь каждая капля — копейка. И небо поважничало, но, так и не дождавшись молитв ни от мирян, ни от своих заматеревших вассалов, сдвинуло тучи и, брюзжа громами и сыпля молниями, окатило утративший всякую совесть, распоясавшийся город. Омылись тополя, а заодно вся земля смыла клочья и лепестки и предстала пышущей, сочной, колышущейся.

Отряхнется земля, осмотрится и пустится во все тяжкие, а месяца через три принесет в подоле, исторгнет урожай и будет еще хорохориться, расшвыривая свою увядающую

роскошь. А потом начнет тускнеть, пока не оголит ее ветер, не прихватит мороз. Она натянет на себя ледяную корку, в сон беспробудный впадет, пока не очнется пыльная, измятая, свежая. И опять за старое.

Когда тополиной пены набралось много, а небо только начало погромыхивать, назначенный день настал.

Поблизости от места проведения стали цепляться молодые мужчины-попрошайки.

Сестра, помоги бродяге.

И почему она всегда подает?

Откупившись мелочью от сомнений, не испытав ни благодати, ни облегчения, Вера отдалась переулкам.

Здесь в боевые порядки строились государственные резервы. Пластмассовые латы и камуфляж оформляли правоохранительную гущу в плечи-бока-зады. Забрала блестели, береты с набрякшими кокардами закупоривали головы, под тельняшными грудными вырезами перекачивалась мышца. Автобусы с зашторенными окнами покачивались подкреплением. Броня урчала, винт взбалтывал небеса.

Вера подумала, что смутьяны должны ощущать себя серьезной силой, видя эту подготов-

ку. Одиночки и целые группы таких обгоняли Веру, они торопились за поворот переулка, торопились потерять себя, слиться с другими, стать частью гудящего, наливающегося там, за домами.

Вера невольно ускорила шаг, будто гладиатор или футболист, спешащий на арену. Последние метры она бежала.



Людское варево кипело и вихрилось. На поверхность то и дело выносило дребезжащих тетенок, кое-где булькала молодежь в разноцветном, у краев сбивалась пена осторожных интеллигентов, то и дело выныривал, звякая медалями, единичный ветеран. Над всем торчали перископы фотографирующих рук и самодельные штандарты с интеллигентскими несексуальными лозунгами. По периметру, сковав площадь кольцом, сомкнулись представители силового царства.

Лица начинающих полицейских не были выделаны ни страстями, ни страданиями и походили одно на другое. Возрастные, напротив, удивляли разнообразием типов и

выражений: толстяки и сухопарые, флегмы и горячо переживающие, поучествовавшие в крестовых походах регионального значения, насмотревшиеся, уставшие, с оплавленными душевными рецепторами, нехотя думающие, изредка сочувствующие, но чаще горько-презрительные. Такие смотрели на молодых демонстрантов как на нерадивых сорванцов, а на сверстников — с выражением «куда же тебя занесло, сидел бы дома, я тебя понимаю, я с тобой согласен, но если бы не служба, хрен бы я сюда по доброй воле сунулся».

Лица участников митинга переливались надеждой. Людей в штатском выдавала готовность.

Наташа оказалась права — свободных мужчин в самом деле бродило множество, аккуратные и расхлябанные, хамоватые и предупредительные, полные и дистрофы, патлатые и как коленка.

Ее одноклассники. Плюс-минус.

Гордые трофеями предков, надышавшиеся пылью рухнувшего советского государства, устроившиеся в новом обществе или оставшиеся на обочине и одинаково этим обществом недовольные.

Одни явно пришли, чтобы быть схваченными, притиснутыми, опрокинутыми. Быть подчиненными и вырваться для того лишь, чтобы снова затеять игру. Другие желали смять пластмассовых и камуфляжных, распотрошить панцири, посрывать головные шары.

Все они стройно и сбиваясь кричали отдельные слова и фразы. Все, и подгоняемые тестостеронной страстью юноши, и умудренные годами мужи, льнули к Вере, трогали невзначай, точно карманники, которые прижимаются, чтобы обокрасть, а смотрят мимо, вдаль, типа, не при делах, типа, им что-то великое ведомо.

Вера заглядывала в их глаза, как собака, привязанная у магазина, высматривает хозяина. Они же приподнимались на цыпочках, силясь увидеть что-то самое важное, не догадываясь, что увидеть ничего нельзя, как ни вглядывайся, потому что там ничего нет, а все, достойное внимания, — перед носом. Но этого никто из них не понимал, как и отцы их, и деды, и прадеды, как не будут понимать потомки, пока род Адамов андрогинной толерантностью с лица Земли не сотрется.

Прямо на Веру вынесло пару рифленых подошв. Четверо, один в своем и трое в униформе, тащили задержанного на манер тарана. Глазами тот сосредоточился на собственном, выкатывающемся из-под рубахи пузе. Будто гипнотизировал его, чтобы не расплескать. Фотографирующие руки тянулись через плечи несущих, как когда-то Вера тянулась через занавеску душа, пугая плещущегося банкира.

Вера оглядела конвойный квартет. Передний бугай с крупным значком «независимый наблюдатель» сжимал правую бледную щиколотку. Все его лицевые мышцы напряглись, будто он страдал непроходимостью.

Его напарник по левой ноге имел, напротив, выражение мечтательное. Казалось, он прогуливается с возлюбленной по вечернему приморскому променаду.

Ответственный за левую руку улыбался так, будто не человека нес, а бревно на деревенской стройке, где всем миром помогают молодоженам срубить пятистенок.

Последний явно испытывал неловкость. Неловко ему было и за себя, и за коллег, и за пойманного, и за фотографов, и даже, кажется,

ся, за вконец обнаглевшее солнце, которое пиялилось сверху своей пресыщенной харей.

Вот они, все пятеро, ее потенциальные одноклассники, ухажеры, мужья. Одного из них прочит ей Наташа, с одним из них она обязана быть счастлива.

На сцену стали взбираться ораторы. Были и вполне горластые, которые складно обвиняли и яростно уличали. Вера даже завелась немного и что-то такое прокричала хором с теснившими ее соучастниками. Но только все у ораторов выходило половинчато. Они не призывали прорвать государевы фаланги ордами старушек и студентов, не вели собравшихся на штурм. Так делают или нерешительные любовники, страшщиеся последнего шага, или любовники хитрые, сознательно последний шаг откладывающие, разогревающие сразу нескольких, чтобы при удобном случае воспользоваться одной. Ораторы поглаживали толпу, как женщину, и, когда она раскалялась до стона, сбавляли пыл.

Вера чужла смутное возбуждение окружающей среды, смиренное страхом, воспитанием, пластмассовой броней, застегнутыми ширинками. Возбуждение росло, а Вера преврати-

лась в пузырь кислорода в толще, в раковину пустоты в вращающейся человеческой лаве. Обстоятельства сдетонировали, ее вселенная расширялась, желая прорваться и то ли поглотить все окружающее, то ли в окружающем раствориться.

Веру качало и влекло, людские буруны мотали ее, но оболочка пузыря крепла, и ничего Вера уже не желала сильнее, чем побороть физические законы и впустить в себя эту громаду и толщу, заполнить себя громадой и толщей, самой стать громадой и толщей и навсегда перестать быть.

Она ни за что не превратится в полость одиночества, застывшую в людском безразличии. Сольется со всеми этими мужчинами хотя бы в крике.

И Вера закричала.

Но ей не вторили, не присоединялись. Она вопила отчаянно, освобождая вокруг себя пространство. Ее заметили, смотрели уже не поверх голов, а в упор. И стали пятиться. А она каждому в лицо орала.

Ворворвор!

Славаславаслава!

Слишком уж Вера увлеклась. Как если бы на концерте голосила, не переставая, «браво». Все прочие зрители угомонились, а она все «браво» да «браво». Соседи бы стали отодвигаться, шикать, а она бы выскочила к сцене, схватила бы скрипача за плечи и в самое лицо: «браво!», виолончелисту — «браво», альтисту — «браво», пианист пытался отпрыгнуть, но и ему «браво, браво, браво». И тогда Вера ударила бы по клавишам и, повернувшись к залу, крикнула бы...

Она и вправду стала протискиваться к трибунам.

— Провокатор... — зашипели вокруг. — Провокаторшаааа!!!

Ее схватили. Прямо за лицо. Чужие соленые пальцы смяли нос, ногти с грязными ободками полезли в рот. Мелькнул наколотый перстенок, колечко «спаси и сохрани» ударило в зубы.

Наконец-то ее трогали. Не трусливо, воровато, походя, а конкретно ее, Веру, хапали, заламывали, опрокидывали.

Она цапнула, и во рту посолонело.

И она побежала на объективы, мобилы и планшеты, которые в тот день были вместо лиц.



Веру поволокли, и она увидела верх. Самолет чертил белым по синему фону. Самолет расстегивал небо, но оно быстро зарастало. Так и у бунтовщиков с Россией. Они ее по щекам шлепают, нашатырь к физиономии сонной подносят, тормозят, хоть рассмешить пытаются, хоть разозлить, все впустую. Утратив надежду, пинают ее, колют булавками, зажигают бумажные жгуты между пальцев, и, если удастся разбудить, она крушит все вокруг, и тем, кто потревожил ее, в первую очередь достается. Но они всему рады, хоть какое, а внимание. А потом снова сон, храп и непроизвольные ветры.

Колесный арестантский ларь, которому скармливали задержанных, встретил Веру запахами свежей нитроэмали, резинового пола и деревянных скамеек, всех этих внутренностей свежесклонированного для усмирения подданных существа. Обнаружив себя после непродолжительного кувыркания в замкнутом чреве, Вера не успела отряхнуться, как дверца снова распахнулась и полицейские вогнули новое трепыхающееся тело. На этот раз полноватого бородатика, который вопреки

своему комическому положению умудрялся сохранять достоинство и попросил у Веры прощения за то, что невольно толкнул.

Вера огляделась, перед ее взглядом предстали мужчины всех сортов: взрывной тихоня и флегматичный баламут, благообразный пенсионер, эксцентрик со стрижкой и тихий, неприметный псих. Одни возились со смартфонами, другие затеяли бурные прения. Атмосфера была будто ночью в общей спальне подросткового лагеря: взрослых нет, и воздух пьянит.

Веру оглядели быстро, каждый по-своему. Юноша с коком вскинул и тотчас убрал глаза, чистенький дед обсмотрел со старческим трепетом и возобновил монолог о коррупции, средних лет пассажир зыркнул со стыдливостью извращенца и продолжил кушать из пакестика, а откормленный юноша лениво провел по ней взглядом и вернул зрение к тачскрину.

Все невольные попутчики глянули и отвели взоры, но она знала — все они теперь думают о ней, говорят с учетом. Все разом, одновременно, друг с другом не согласуясь.

Память подбросила картину из юности: рисовальный класс, полтора десятка рук фикси-

руют студентку педучилища. Подрабатывает натурщицей, замерла, отдается и принадлежит всем разом, совершенно, впрочем, целомудренно. Тишину нарушают только звуки сглатывания и штриховки. Вера тогда намечала телесные очертания и думала, что интересно, наверное, вот так принадлежать всем. И мысль эта с тех пор не давала покоя. Вскоре на глаза попало объявление — требуется модель для боди-арта. За четыре часа, уходящих на создание изображений на ее теле, предлагалась универсальная сумма — сотня долларов. Отсутствие интима кокетливо гарантировалось.

Пробы проходили почему-то в помещении футбольного Союза. Встретил плотный, как батон «телячьей», усач. Спросил, чем занимается, пообещал пристроить оформителем в спортивный листок, попросил раздеться. Пока она стаскивала, стягивала и вешала на спинку стула, он ходил из угла в угол, бросая взгляды, которые маскировал под деловые. Несколько раз крутанул глобус в виде мяча. Когда осталась в одних трусах, торопливо попросил и трусы.

И трусы? .

И он дакнул несколько раз. Да, да, да!
И трусы!

И от своего порыва покраснел до вареной ветчинности.

А когда сняла, забегал. Каблуки стал искать. Как же так, пришла без каблуков. Ох, ах, большое профессиональное упущение. И от этой его суеты она утратила стыд. Не он ее смущал, а она его. Он боялся навести на нее глаза. Она попросила воды и закурила без спроса, и он поднес стаканчик и пепельницу услужливо подставил.

Каблуки у него нашлись, и он их Вере протянул и спросил, можно ли других специалистов позвать.

Чтоб оценили.

Не успела она осознать, как помещение наполнилось умеренно солидными, и коньяк колыхался в стаканах, и сигаретный дым лежал в воздухе коржами. Инициатива выскользнула, и вот ее по-свойски попросили подвигаться, встать так и этак, показать стерву и блудницу, а один без дозволения стал делать полароидные снимки.

Сначала созерцали по касательной, но круги сужались. Смотрели теперь открыто,

причмокивали, клонили головы набок. Самые решительные вскоре и вовсе стали перекладывать пряди на ее плечах, то и дело отстраняясь, оценивая и снова перекладывая. И вот уже кто-то требовал, чтоб наклонилась, нетерпеливо прогибая ее спину ладонями.

Пробы эти вполне могли далеко зайти, если бы Вера, с трудом разгребая откуда ни возьмись навалившееся марево, не принялась собирать одежду, которую сначала игриво прятали, а потом нехотя вернули. Освоившийся организатор, вспомнив вдруг о поводе их встречи, попрощался задумчивым выводом, что данные у нее имеются, но требуют огранки. Ей следовало явиться на другой день, с платьем и каблуками, для оттачивания мастерства движений и вокала, столь необходимых в искусстве боди-арта. И вообще не в одном же рисовании смысл жизни, на свете есть много других интересных занятий.

Больше она в тот футбольный кабинет не ходила, а ценитель красоты потом названивал и даже устроил телефонную сцену обманутого наставника, брошенного вероломной дебютанткой.



Протиснувшись в корму фургона, Вера села на свободное место, а доставленный за ней следом бородатый господин устроился возле. Скамейки в рядок напоминали устройство класса, в котором на месте учителя стенка водительской кабины.

Один молодой задержанный привлек общее внимание рассказом. Явившись из недалекого региона бороться с фальсификацией выборов, он до митинга не добрался. Так долго копил негодование, что не утерпел и начал бузить еще на подступах, где и был скручен. Сам он за восстановление империи. Недавно ездил что-то куда-то водружать, да не доехал, по пути сняли с транспорта и закрыли на сколько-то суток. А еще он пролез по поддельному билету на какую-то пресс-конференцию и задал первому заму кого-то очень важного, Вера тотчас забыла незнакомое имя, заковыристый вопрос.

Вере стало жаль мальчишку за то, что он мыкается без государства, которого не застал. А вокруг столько девок целыми днями на шпильках, только чтобы он, бабда, их заметил. Все безотцовщина, брошенные мальчишки нахо-

дят себе пример в героях прошлого. Тоскуют по былому, переодеваются в старье, поют гимны предков. Бедные-бедные, покинутые папашами, ищущие свет в нимбах мертвецов. Истрачиваются на борьбу, которую считают благородной, которая нужна затем лишь, чтобы не оставалось времени задуматься, оглядеться и увидеть в упор свой страх. Россия оказалась Вере одинокой, ищущей надежного, да хоть какого, не девочка уже, годы тикают, очередной сбежал, она бы обратно приняла, да не возвращается, а новых нет, сунут и отвалят, разве что деньжат стрельнут на прощанье, лицо отворачивая.

Сосед, тот самый бородатый, предложил отхлебнуть из припрятанного сосуда, и она не побрезговала. Он в дискуссии не участвовал, не высказывался и, кажется, разделял ее скептицизм. Фургон продолжал стоять на месте, в окошко просматривалась кутерьма митинга, который теперь, из уюта подвластности, казался пустой и нелепой суетой.

Веру окутала странная нега, и она не удивилась, когда сосед ее приобнял. Рука его на ее талии сначала лежала поверх, а потом скольз-

нула за резинки, под пуговики, и вот он уже в святая святых проник и разошелся.

Захваченная врасплох, сраженная только что невозможным и теперь происходящим, Вера головы к нему не поворачивала, одобрения не выказывала, но и сопротивления не проявляла, только пальцы на поручне стиснула и смотрела сквозь решетку на суматошный город со всем его величием и сорной мелочовкой, которые скоро размылись в цветные пятна.

Она поддалась не из-за особой, возникшей вдруг приязни, не порочная склонность к экспромтам с первым встречным стала причиной. Просто она перестала себя ощущать и принадлежность свою временно утратила. Если бы прочие присутствующие вздумали подобное с ней проделать, она бы отдалась и все прихоти бы исполнила.

За все время, пока стояли и ехали, Вера так на бородатого и не взглянула. А когда причалили к одному из районных отделений и всех из фургона спустили, как воду из бачка спускают, ублажитель ее улыбался уже издали, будто из отходящего поезда.



Задержанные наполняли коридоры и закоулки районного отделения. Кого-то вызывали, кто-то спорил, кто-то просился по-маленькому, кто-то балагурил, кто-то покорно, с расфокусированными глазами, ждал.

Тут бы описать все в живописных подробностях, подметить детали, подчеркивающие состояние Веры и прочих, иллюстрирующие общество вообще и маленького человека в частности, но Вера не видела ничего, что могло бы ее поразить.

Происходило именно то, чего она ожидала, что, вероятно, всегда в подобных случаях происходит, и лишь одно удивляло Веру — предсказуемость того, за чем тысячи и тысячи людей охотятся, что непременно хотят испытать, что почитают за приключение и опыт, который необходимо приобрести, пережить, которым гордятся. Удивляло и то, что остальные задержанные, кажется, тоже все понимали, только не хотели признавать, подбадривая друг друга и выдавливая из себя смайлы.

Служители закона напоминали уморенных жриц любви, а задержанные — давешних дев-

ственников, с которыми только что случился первый раз и они оглушены тем, как скучно все обернулось.

Появился полицейский, очень похожий на поддутый воздушный шар. Бывают воздушные шары в виде разных персонажей, в виде попугая, оленя или Деда Мороза. Такие украшали Наташину веранду. Этот шар был ментом.

Голова едва вмещалась в расстегнутый ворот. На боках, в паху, под мышками темнел пот. Сдерживаемое рубашкой брюхо переваливалось через ремень. По полу шуршали остроносые туфельки, узенькие, будто ножки в них прятались девицы.

С полицейским ротиком творец скалтурил – полоснул криво, а чтобы ошибку скрыть, усики поверх наклеил. Глядя разбавленными, полиэтиленовыми глазами, ментошарик отерлющий из-под фуражки конденсат и вызвал Веру.

Помещение производило впечатление места, где случаются всякие неприятности. За решеченное, расположенное близко к земле, окошко полуподвального этажа не позволяло разобрать время суток. Зимой на нем оседала

копоть от автомобильных двигателей и жижа против наледи, весной прибывало клейкую липовую пыльцу и тополиный пух, их припудривало июльской пылью, а ее по осени припорошивала труха опавших листьев. Последний раз окно мыли несколько лет назад, когда сюда доставили целый табор уличных путан, которых, помимо прочего, приспособили и к уборке.

За столом цвета рыжих домашних насекомых сидел лысый, поодаль на стульчике шуршала бабка.

— Это она! — заверещала бабка, едва увидев вошедшую. — Кричала, толкалась, кинула камнем в представителя правоохранительных органов.

Не успевший закрыть дверь ментошарик зашипел и запузырился от смеха. Даже слюнка в уголках ротика закипела.

Вера невольно подумала, где у него клапан, ниппель? Что если открыть затычку? Или просто проколоть булавкой? Тогда он зафырчит, примется выписывать в воздухе непредсказуемые траектории, будет метаться из угла в угол, ежась и брызгая, пока не превратится в дряблую тряпочку.

Лысый глянул на ментошарика, тот унялся, облизал губу, почесал взмокший под фуражкой мех и выплыл вон.

Повертев в руках Верин паспорт, лысый бросил его на стол.

— Она, я точно помню! — отработывала бабка.

— Помолчи, — выдохнул лысый.

Бабка унялась и стала жевать съестное.

— Свободны, — лысый всосал из фляжки.

Вера посмотрела удивленно. Не то чтобы она хотела подольше тут оставаться, но как это «свободна»? Ее отвергли и хотят спроводить.

— А протокол? — неуверенно спросила она.

А хотелось про трусы. Трусы, трусы снимать? И, получив отказ, молить, цепляться, ну, можно, я сниму, ну, пожалуйста, а могу и не снимать, если не надо, могу просто так сидеть, только не прогоняйте!

— Следующего давай, — крикнул, не глядя на нее, лысый, навинчивая крышку на стальную резьбу.

Не помня как, Вера вышатнулась вон. Она снова принадлежала себе, могла идти в любом желаемом направлении, но хотела обратно, под

замок. Хотела внимать и выполнять, вставать по приказу и садиться, выходить и заходить, прибегать на зов и убираться прочь. Покорность не тяготила, напротив, расставляла по местам все внутренние грузы, избавляла от крена.

Осторожно пробуя умом эту мысль, возвращая в памяти бородатого и лысого, Вера заблудилась в незнакомом районе и, пока полтаблетки луны растворялись в утренней синеве, плутала среди бетонных домов. Выбраться удалось, только когда она примкнула к мятым утренним жителям, спешащим к источнику транспорта.



Пускай Веру больше взволновал лысый, но она имени его не знала, а попугчика рукастого вполне реально было отыскать — его громко окликали по паспортным данным. И она нашла и без всякой гордости, от которой никакой пользы, написала. И он почти сразу ответил, и вот они сидели за круглым столиком в ярко освещенном энергосберегающим электричеством зале среди других людей и столиков, и перспективы рисовались самые радужные.

Новый знакомый имел свойство любой разговор переводить на повествование о себе. Немного над собой подтрунивал, толкая таким образом собеседника к разуверениям, опровержениям и дифирамбам. В меню беседы был упадок культуры, деградация верхушки, распоясавшиеся мракобесы и повывлезшие из колоний и закоулков дикари, куролесящие в их родном городе по своим законам лесов, гор и градообразующих предприятий. Временно исчерпав негодование по поводу плебеев, он перевел на себя — творческий человек, коренной житель в энном поколении, готовлюсь к постановке балета по мотивам «Белоснежки».

Ты режиссер? Как интересно! А предыдущие спектакли можно посмотреть?

Кое-что имеется, но она вряд ли слышала, уж очень авангардная была постановка, не справились с нею ни зрители, ни администрация. Изъяли из репертуара еще до начала репетиций.

Вера деликатно перестала любопытничать, а он принялся описывать предстоящий балет. Это явление должно взбаламутить местную публику, всколыхнуть не только театры континента, но и заатлантические залы. Балет

неприменно потрясет устои, что немного насторожило Веру, которая повидала некоторое число людей, как говорится, творческих, и хорошо знала — ничего путного из сотрясения устоев обычно не выходит. Впрочем, его слова казались все более остроумными, она часто смеялась, уронила бокал и хлопнула собеседника по плечу.

И руку задержала.

А он ее руку своей накрыл, и больше она не помнила, говорил ли он про балет или не говорил.

Не заметив ни как оплатила счет, ни дальнейших ночных часов, Вера очнулась утром и обнаружила все на своих местах: он храпел рядом, их одежда была разбросана по полу, в окошке нежилась новый день.

У бородатого обнаружилось одно свойство. То есть Вера и раньше сталкивалась, но не с такой выраженной формой. В процессе любовных занятий он не особенно налегал на традиционную часть, отдавая предпочтение поцелуйно-поглаживательным ласкам.

Объектом его внимания оказалась не вся Вера, а только ее ноги. Эти две ее телесные принадлежности, как отмечалось, и в самом

деле были хороши, но никто раньше не обрушивал на них столь избыточного почтения. Фактически, кроме этих самых ног, режиссера ничто больше не интересовало. Даже рукотворной выходки, послужившей началом их знакомства, он не повторил.

Зато чего он только с ее ногами не проделывал: и чмокал, и лизал, и нюхал, и стаскивал с них колготки, и надевал, и рвал, и... неловко сказать, но только с ногами.

К себе прикасаться не позволял, все сам.

В дальнейшем перед близостью он, смущаясь, просил Веру ни в коем случае ног не мыть, сам мылил ее ступни, а как-то раз предложил сделать педикюр, причем пришел со своими принадлежностями и справился весьма ловко.

Такие мужские особенности не были для Веры новостью. Например, банкир относился к разряду россиян, поработанных кинофильмом «Девять с половиной недель». Такие ни на что не способны, прежде чем не вымажут себя и партнера какой-нибудь липкой или сладкой гастрономической жижей.

Выкрутасы все эти и, с позволения сказать, фантазии Веру не слишком будоражили, но она привыкла и приноровилась испытывать

известный отголосок наслаждения. И только в свободные минуты, когда бывала одна и ничто не занимало ее мыслей, нет-нет да и закрадывалась в ее сердце тревога за народ, в головах сильной половины которого царит такой сексуальный кавардак.

Но вернемся к Вериним ногам, которые помимо прочего обладали еще и вдохновляющими свойствами. Как лучи прованского солнца когда-то осветили таящиеся в душе художника Ван Гога гениальные живописные образы, так и эти две стройные конечности подтолкнули режиссера к действиям.

Он неожиданно объявил, что хочет ставить балет тотчас, не откладывая.

Планирование заняло у него пять лет. Пока завистники шушукались, мол, годы уходят, а балета не видать, он напряженно размышлял. Привыкшие к мельканию клиповой культуры дураки не понимали, что настоящие произведения рождаются неспешно.

Замысел, вопреки предположениям недоброжелателей, существовал. Восемь танцовщиков — семеро мужчин в нарядах шахтеров-гномов и один Белоснежка, должны были принимать различные позы и замирать, изредка сменяя одну позу другой.

И так в течение всего положенного времени, два часа сорок пять минут с антрактом.

Вера вызвалась помогать, найти место и уговорить танцовщиков за символический гонорар, который она возьмет на себя. Еще при банкире она, вспомнив рисовальные навыки, устроилась в окраинный дом культуры преподавательницей в кружок. С директрисой этого заведения и удалось сговориться. Та потребовала сценарий, чтобы убедиться, что ни бранных слов, ни фрагментов обнаженного тела, ни выпадов в сторону правительства и конфессий в постановке нет, и была очень удивлена, когда получила один-единственный лист бумаги, заполненный текстом лишь на треть. Да и те скромные строки заключали в себе описание миссии спектакля и его места в мировом театральном процессе.

Повертев листок в руках и заручившись горячими заверениями Веры в абсолютной, даже вызывающей лояльности постановки, директриса дала добро.

Через несколько дней режиссер проводил набор артистов. Репетициями решено было не злоупотреблять, во-первых, не позволяли сроки договора с залом, а во-вторых, что было,

пожалуй, решающим, режиссер принципиально хотел выпустить наружу чистые, не затертые тренировками инстинкты актеров.

В другой раз Вере могло бы показаться, что от репетиций отказались не по причине особенностей художественного высказывания, а потому, что на репетициях принято репетировать, разбирать план, давать наставления, а плана и наставлений режиссер явно не припас. Но Вера всего этого не замечала или не хотела замечать. Она была если не влюблена, то очень цеплялась за свое романтическое увлечение, пребывала в некоторой горячке, свойственной тем, у кого последний шанс и другого не представится.

Во второй половине июня, под занавес сезона, когда температура окружающей среды подскочила, почти сравнявшись с температурой здорового человеческого тела, случился день премьеры.



За полчаса до начала районные театралы образовали небольшое столпотворение. Представители прессы, хоть и не первосортные, заглянувшие ради угощений, которые из-за

отсутствия средств так и не были поданы, скучали. Директриса решила сэкономить и отключила кондиционеры — возникла духота.

Прозвенел третий звонок, и жители района потянулись в зал, заполнив не меньше половины мест. Лучшие кресла, обозначенные табличками с именами знаменитостей, вызывающе пустовали — театральная элита постановку проигнорировала.

Как, впрочем, и создатель.

Режиссер не явился, телефон его был выключен. Разыскивать пропавшего было поздно да и некому.

Оказавшаяся в довольно странном положении Вера решила спектакль не отменять. Побывав на всех двух встречах автора с артистами, она знала, что и как должно происходить. Сообщив коллективу туманную отговорку по поводу неявки постановщика, она проверила общую готовность и обеспечила начало балета точно в обозначенное на афише время.

Сначала все шло неплохо. Первые минуты две-три, может быть, даже четыре. Артисты, изображающие не столько гномов, сколько шахтеров, застыли в различных позах перед жителями района. Один отдавал пионерский

салют, другой занес кирку, третий сидел на корточках. Никто, ни на сцене, ни в зале, не шелохнулся, пока какой-то заморыш из партера не зааплодировал и долго не унимался. Реакция районного интеллигента на актуальное искусство.

Воспользовавшись замешательством в рядах жителей района, артисты сорвались с мест и после непродолжительной кутерьмы застыли в обновленных позах. Жители района решили, что это такая модная игра, возможно, флешмоб, и принялись хлопать в ладоши, чтобы хлопками расколдовать зачарованных горняков и Белоснежку, которую, точнее которого, кто-то с галерки успел нецензурно обозвать. Артисты, так и не уяснившие, что от них требуется, сбитые с толку исчезновением руководителя, стали действовать по наитию: кто-то, услышав хлопки, скакал, кто-то продолжал стоять замерев, кто-то размахивал руками и крутил головой, уподобившись почитателям знаменитого гипнотизера Кашпиоровского.

Наигравшись довольно быстро с танцовщиками, жители района перестали аплодировать и зашелестели распечатанными лично Верой программками, надеясь отыскать в

них спасительные разъяснения. Надо ли говорить, что сочиненный режиссером авангардный манифест не только не удовлетворил жителей района, а, напротив, привел в заметное раздражение.

В результате всей этой импровизации к началу антракта половина зрителей зал покинула. Бежали поодиночке и целыми семьями, одни воровато пригнувшись, другие гордо, во весь рост, фыркая, хихикая, молча или негодуя.

После жидких, милостивых хлопков Веру подозвала директриса и сделала выговор. В балете принято прыгать с выкрутасами, а не стоять истуканом, и вообще происходящее возмутительно. Хорошо, вход бесплатный, а то бы пришлось деньги возвращать.

Один подвыпивший журналист с независимого сайта, который, как позже обнаружилось, оказался временно заблокирован за неплату, задал несколько пустых, унижительных даже, вопросов о том, что мастер хотел сказать своим произведением. Узнав, что балет не закончился и будет второе действие, журналист не счел нужным скрывать удивление. Оказалось, что и прочие зрители решили, что конец, и с антракта вернулся только один бли-

зорукый в сопровождении блеклого женского существа из числа знакомых автора.

Вера поспешила в фойе, там никого не было, лишь какая-то женщина шмыгнула мимо. Что-то в этой женщине показалось Вере знакомым. Походка, осанка, волосы. Вера окликнула женщину, та прибавила ходу. Вера пошла следом, но женщина проворно юркнула меж стеклянными створками дверей.

Вера остановилась смятенная — в погоне она на мгновение разглядела отразившиеся в стекле черты беглянки. И черты эти точь-в-точь напоминали ее собственные.



После премьерной катастрофы режиссер отыскался. Он был тускл и осведомлен. Сказал, балету помешало устройство зала. Что за устройство такое особенное было у зала, осталось неясным. Публику собрали случайную, неподготовленную. Вере вменялось, что торопила, подначивала, подстрекала. Выбрала неудачное время и место, распечатала не такие программки. Устранился он именно потому. В последний момент понял и не пришел.

Не пожелал в этом участвовать. И впредь не желает. Устал потакать. И вообще устал.

Вера снова коротала время одна, никуда не тянуло, хотя дни и ночи стояли особенные, все благоухало упорхнувшей весной и распустившимся летом. Однажды вечером до ее слуха донесся звонок. Тренькало где-то за стеной, не в ее личном пространстве, и она не сразу обратила внимание. Телефон, однако, не унимался, стало вдруг казаться, что антикварный звук вышедшего из обихода дискового аппарата имеет к ней прямое отношение, и она во что бы то ни стало обязана ответить.

Вера пошла вдоль стен, прислушиваясь, и вскоре убедилась — эпицентр звонка за ковром.

В затылок брызнула россыпь ледяной жути — вспомнила, что за ковром дверь, а за дверью комната, которую хозяйка решила замаскировать, сложив туда какие-то свои предметы, и теперь там звонит телефон, а телефон, который у нее перед глазами, не звонит, а квартира вроде как одна.

Эта дверь со дня обнаружения Веру не тревожила, но сейчас таинственная комната показалась очень важной и попасть туда было необходимо. Помня, что дверь заперта, Вера

принялась все-таки ковер отцеплять. Нитяные петли сопротивлялись, она рванула, отбросила красавицу с корзинкой на пол, приложила ухо.

Не оставалось никаких сомнений — звонок доносится оттуда.

Вера тронула дверь, та поддалась.

Был поздний вечер, в ничьей комнате стояла темнота. Вера нащупала выключатель. Лампочка в глубине старинного абажура вспыхнула и лопнула. Вера вернулась к себе, взяла связку ключей с брелком-фонариком.

Белый луч высветил квадрат запыленной паркетной глади, утес шкафа, причал узкой кровати и отвесные, в белесый цветочек, обои берегов. Луч колыхал серые комья в углах. А вот и телефон. Зеленый с белым диском. У родителей дома стоял такой же.

Вера поднесла руку к трубке и, помешкав, крепко схватила, сжала до пластмассового скрипа, будто трубка была беглым зверьком, которого долго не могла настичнуть.

— Алло.

— Маму позови, — произнес голос Вериной матери.

Скованная жутью, она не могла пошевелиться, потом разжала пальцы и, отбросив зеленую трубку, метнулась из комнаты прочь, захлопнула ее, задвинула икеевским стеллажом и, хлебнув «хеннеси», сколько в бутылке было, долго колотилась в ванне под струями.

Наутро после бессонной ночи, когда боялась оставаться дома и выбежать на улицу тоже не решалась, раздался другой звонок, на этот раз ее личного средства связи. Справилась с собой, посмотрела на экран и, увидев незнакомый номер, отвечать не стала. Вслед за чередой настойчивых вызовов пришло сообщение, которое Вера не сразу, но все же решилась прочитать.

Вере Сулеймановне надлежало явиться по указанному адресу в назначенное время в определенный кабинет для дачи объяснений по поводу участия.



Вера сторонилась мужчин, что называется, простых. Мишка, конечно, роль сыграл. Но и без него было от чего поморщиться.

Эти пиджаки из блестящей синтетики.

Эти рожи.

А манеры, а неумеренное курение, громкая музыка, нечуткость к искусству, особенно современному, гомофобия, империализм, пьянство.

Впрочем, про пьянство надо признать, что все средства, здесь потребляемые и православными, и теми, кто других конфессий, расходятся от одной только местной грусти. Больно уж все здесь масштабно и величественно. Дали дальние, леса дремучие, трубопроводы нескончаемые, и куда бы ни тек ты по этим трубопроводам, вовек никуда не дотечешь.

И великая бездна над всем этим зияет. И как ее ни закупоривай, все равно сифонит.

Здесь одни дураки суетливые мечутся, работают, мастырят что-то Богу на потеху. Все в прах обратится. От лицезрения замысла Божия и запивают. От величия окружающего и гасятся сложными эфирами и тяжелыми внутривенными.

Потому что к Божьему замыслу вплотную стоят.

В первом ряду.

Происходя из народа, Вера, как и прочие ограниченные двадцатым веком горожане, сво-

их далеких родичей сторонилась, и одновременно ее к ним тянуло. Со дня задержания лысый не шел из ее головы, и страх перед ним, смешиваясь с влечением, лишал покоя.

Вера знала, что после ее задержания кто-то метнул в полицейского латника то ли цитрусовым, то ли шкуркой от цитрусового, нанеся тем самым стражу закона физическую и душевную рану. Начались толкотня и хватание за руки. И кто-то еще что-то кинул, а кто-то плюнул. И теперь метателей и плевалыщиков стали вычислять, выковыривать из убежищ, опознавая по оперативным съемкам и доносам.

Усердствовали не только сыщики, публичные интерпретаторы от них не отставали. Среди них был и ее бывший, когда-то покинутый после застольной несдержанности умник. Он со своими разъяснительными абзацами теперь блистал особняком, выслужив за минувшие годы отдельный шесток в тесной, кишашей соперниками клетке русской мысли.

Вера обрадовалась вызову, ей очень хотелось снова увидеть того лысого, швырнувшего ей паспорт. Или кого-нибудь вроде.

В назначенный день она подкрасила один глаз, второй. Нанесла и стерла три помады и

снова нанесла первую. Хоть размеры зеркала и позволяли, у нее не получалось увидеть себя целиком. Свойство это возникло еще в юности, своим появлением совпав с лирической историей. Тогда один молодой скульптор так пленился Верой, точнее ее коленями, бедрами, ступнями, запястьями и прочими суставно-мышечными составляющими, что упросил снять копии с ее впадин и выпуклостей, чтобы после отлить в гипсе. Согласившись, она подолгу сидела в пропитанных застывающим веществом бинтах, сохранявших отпечатки того или иного ее достоинства.

Впутавшись в эту авантюру из любви к искусству и, конечно, из любопытства и тщеславия, Вера скоро заскучала, но дотерпела до дня, когда была снята последняя и самая интимная копия и комната ее скульптурного воздыхателя стала хранилищем другой, разрозненной гипсовой Веры.

С чувством выплаченной за свою привлекательность дани Вера объявила, что раз все закончилось, то она пошла. Новость стала для потенциального Микеланджело ударом, хоть он и вправду больше в Вере не нуждался, потому как ни на что, кроме снятия с нее копий,

в силу своей душевной истонченности годен не был.

Лицо его потекло, он стал кричать, а потом вдруг принялся бить гипсовые Верины комплекующие. Она почему-то встала на цыпочки. Скульптор носился среди пыли и осколков, потрясая то ее коленом, то губами, то еще чем. Вознося слепки к Вере, он затем швырял их об пол.

В тот день сама Вера осталась неповрежденной, в идеальной телесной сохранности, хоть снова начинай копии лепить, но в голове что-то стряслось, какое-то угрызение вцепилось, и она утратила умение видеть себя всю.

Теперь она пришла по указанному адресу, дождалась и не удивилась, когда за дверь кабинета увидела того самого лысого представителя органа, противостоящего возбуждению и разжиганию.

Он ее не узнал, что обидело и взволновало. Разговор их был пуст, как и все разговоры, когда оба собеседника так или иначе понимают коренную бессмысленность задаваемых вопросов и получаемых ответов. Он проявил осведомленность, знал детали ее биографии, по крайней мере те, что задокументированы,

интересовался, зачем пошла, одна или в компании, кто подал идею, чего добивается, остались ли связи за океаном.

Решив говорить правду, Вера сообщила, что связей за океаном нет, а пошла, чтоб познакомиться, и вот, пожалуйста, результат. И она предложила продолжить в нерабочее время.

Лысый, хоть и был мужчина, по нынешним временам, видный, но привык к совершенно иному отношению к себе со стороны посетителей кабинета. Отнесясь к Вериной инициативе с подозрением, он отказался, но в конце недели все-таки вышел на связь. И вот они подъезжали к надежному, крепкому, но не завершенному загородному строению, которое лысый возводил своими собственными, вроде как славянскими, и наемными руками среднеазиатских трудовых мигрантов, по большей части нелегальных.

По любовной части лысый оказался очень даже годен. Действовал решительно, разоблачал Веру деловито. Платье, белье, обувь. Так опытные бойцы с закрытыми глазами разделяют на детали свои тридцатизарядные.

Если режиссер целиком отдавался предварительной возне, то этот переходил к делу

сразу, как-то слишком сразу, но лучше уж так. Он применял себя к ней просто и свирепо. Шмякал, валял и крутил. А она мысленно благодарила Наташу, пока не теряла разум от простого и действенного наслаждения.

Он не пел ей дифирамбов, не восхищался в поэтической или иной форме, не советовался, что они будут пить, чем закусывать.

Его не волновало ее мнение.

Он велел ей готовить совершенно недие- тические блюда. Объяснил, что живет она неправильно, ставит себя неправильно, а за руль он ее вообще не пустит.

На обратном пути, когда по ночному шоссе перед ними текли красные, а навстречу — белые струи огней, он высказался против косметики, коротких юбок и глубоких вырезов. Женщины распустились, штукатуруются и одеваются, как гулящие.

Вере понравилось его небезразличие, его ясные желания. Она сочла их признаком собственничества, ревливости и, возможно, чувства.

Но лысый превзошел самые смелые ожидания. Не ограничившись словами, он выкроил время и отвел в торговые ряды, куда бы она сама, журнальная модница, никогда бы, ни за

какие посуды. Мало того, что он ее туда привел, но и принялся выбирать.

Задержувшись в тесном закутке, она примеряла наряды большей частью черные с искрой или из кожи, тоже, впрочем, черной. Подолы и рукава были длинны и глухи. Вера не любила кутаться, но обновки казались ей формой личной гвардии, в которую ее благосклонно зачислили, и потому обсуждению не подлежали.

И она, конечно, потеряла счет делениям на циферблате. Примеряла это с тем, а то с этим, и не то чтобы сильно задержалась, но лысый на ее медлительность неожиданно разозлился. Ждал по ту сторону шторки, подносил размеры и незаметно накопил. Взял вдруг и занавес отдернул.

Хватит копать, я опаздываю.

А Вера как раз одну юбку спустила, чтобы другую надеть. Она стояла наклонившись и видела, как колючие рожи торгашей тотчас сгустились за спиной лысого. Вмиг десяток чужих фантазий овладел Верой, распустил ее и приспособил. И она застыла и задержаться сразу не смогла не только от стыда, но и от странного, скрытого от самой себя, но управ-

ляющего телом желания длить, принадлежать незнакомым, быть покорной и властвовать, чужую волю исполнять и свою навязывать.

Лысый прищепил ей ухо крепкими пальцами и, расталкивая зевак, выволок из примерочной. И она, суетливо напялив, скомкав и расплатившись, прихватив не глядя туфли, навьюченная его кутюрными представлениями, поспешила за ним.



Следующая их встреча пошла по неожиданному сценарию. Когда она вышла к проспекту, где лысый ее обычно подбирал, когда дождалась и уселась рядом, то увидела на заднем сиденье девочку лет десяти и мальчика неопределенного возраста. Вместо слов мальчик издавал короткие одинаковые стоны.

— Голодание мозга при родах, — представил сына лысый, не упомянув про девочку.

Бывшая жена, с которой, кстати, он продолжал жить по одному адресу, не имея никаких шашней, все выходные занята, и он взял детей.

Гуляли в парке, катались на американских горках, где все визжали и только мальчик по-прежнему ритмично ныл.

Девочка проявила удивительную меткость при стрельбе в тире, за что была награждена портретом президента, которых повсюду было в избытке, которые вручали в качестве приза, подарка или в нагрузку к покупке.

Мальчик оживился только перед прилавком с цветными тянучками, издав рев с оттенком требования. Лысый приобрел пучок из трех разноцветных, похожих на электрический провод, и подросток заткнулся, причем в буквальном смысле — тянучки требовали упорной челюстно-глотательной работы, не оставляющей времени на мычание.

Вера, одетая почти монашкой, перед выходом только веки едва подвела, весь день ждала реакции. Лысый молчал, и, прощаясь, она не удержалась и спросила.

И он велел стереть глаза.

И она стерла с готовностью и очень его вниманию обрадовалась.

В повседневности Вера избегала детей, не заводила подруг-наседок, чтобы не беречь себя обрыдлым умилением первыми звуками, первыми лужами, первыми шагами. Теперь она смотрела, как лысый меняет сыну впитывающие трусы, как тот колотит его по темени

и гудит методично, словно маятник, отмеряющий тцету, и знала, скоро произойдет и отменить или перенести уже нельзя.



Тем временем уединившийся режиссер просматривал снятые Верой кадры балета. Куда им, привыкшим к незатейливым мюзиклам, понять его высокий, пронизанный бесчисленными смыслами минимализм! Как только он поверил в то, что причина неудачи заключена в неподготовленности отечественных театралов к встрече со столь значительным произведением, он воспрянул.

После обнаружения под ногами твердой почвы собственной гениальности режиссер стремительно погрузился в новое увлечение — борьбу с разрушением старинных зданий.

Кроме педикюрной слабости у него была еще одна — предметы старины. От настоящего он кривился в пользу всего утраченного: улицы и станции метро именовал только бывшими названиями, не отдавая предпочтения ни царскому, ни советскому прошлому. Тверская у него была улицей Горького, а Лубянка

площадью Дзержинского. И если женщины, точнее ноги, его волновали без изъянов и гладкие, то в объектах неодушевленных он в первую очередь ценил трещины, сколы и другие дефекты. Мир его мечты сплошь состоял из потертых, потускневших, поеденных молью вещей.

Учредив, недолго думая, Комитет Противодействия Строительному Варварству, недавний режиссер провел первое заседание в кафе, но из-за дороговизны и жадности хозяев следующее перенесли в его съемную комнату. Несколько предшествующих дней он был сосредоточен, что-то черкал в листках, а когда все собрались, разразился короткой речью. Говорил о непоправимом уроне, который наносят алчные застройщики, о хапугах, готовых разрушить любую древность ради платного подземного гаража, о том, что с каждым раздробленным древним кирпичиком душа города, столь им любимая, покидает эту территорию.

Публика состояла из молодых и не очень людей того типа, что курят самокрутки, штудируют теоретиков социализма, ругают правительство и обращаются к вегетарианству в

целях экономии. Дискуссия поначалу происходила бурно, но, как и многие интеллигентские беседы, спотыкалась о необходимость определиться. Спорщики братья за меч не решались, и мотор их энергий тарахтел впустую.

Тут заговорила одна молодежавая бунтарка из отдаленного региона. У нее была манера любые слова вроде просьбы прикурить сигарету или подлить вина насыщать такой многозначительностью, что казалось, будто хочет она вовсе не подымить или утолить жажду, а чего-то другого, темного и запрещенного, чтобы руки за спину, и кляп, и вообще. Фантазия присутствующих мужчин от этих ее интонаций выкипала, работа останавливалась, а скверная девочка натягивала рукава тельняшки на ладони, будто мерзла, и смотрела по сторонам из-под козырька непомерно большой дамской кепки, больше подходящей восьмидесятым годам века ушедшего, чем середине второго десятилетия двухтысячных.

Так вот, кепочная эта вытряхнула из горлышка прямо на пол остатки ячменного, рванула полосатый рукав, несмотря на крепость армейских ниток, оторвала и потребовала ке-

росину, чтобы тотчас, на месте, смешать за-жигательный шейк, названный в честь знаменитого сталинского наркома.

Увидев ее обнажившееся плечо, многие члены Комитета, особенно те, что с бородами и залысинами, оживились, а члены Комитета с прическами и бижутерией, напротив, сосредоточились, будто атака на врага уже началась.

Режиссер принял требование активистки с воодушевлением.

— Будем жечь их технику! Спалим бульдозеры и бытовки! Хватит ломать мой город!

Поднялся гвалт, соседка заколотила в стену, требуя тишины.

Насчет города претензии у режиссера имелись веские. Многие старинные сооружения принадлежали в давнюю пору его предкам или на худой конец были освящены их визитом. Что ни дворец, то прабабкино приданое, что ни церковь — место крещения прадеда. Отростки его обширной родословной лезли глубоко в прошлое и терялись в расселинах истории. Среди пращуров числились: татарский хан, городской голова, видный ученый, а родоначальником материнской ветки значил-

ся екатерининский фаворит, кавалер, князь и прочее, что и перечислить не под силу.

В пору знакомства с Верой и подготовки балета он свою страсть к минувшему временно оставил, а теперь, желая, возможно, смыть с биографии театральную неудачу, обратился к своему увлечению с удвоенным вниманием, пускаясь в невероятные генеалогические импровизации, совершенно, впрочем, искренние.

Хоть древо его предков и жило весьма непредсказуемо, хоть порой и появлялись на нем по прихоти режиссера новые веточки и крупные плоды едва ли не Рюриковой крови, пускай сам он, бывало, путался в показаниях, ему верили. Одно, впрочем, известно достоверно — родная бабка режиссера, стоматолог, самому маршалу Жукову зубы драла прямо под шквальным огнем неприятеля. У него и щипцы сохранились, те самые.

Не выдавшая режиссера с рокового послебалетного дня, Вера пришла его проведать в тот вечер. Волновалась за него после неудачи с постановкой, хотела утешить, но выжидала, пока уляжется, да и на лысого отвлеклась порядочно. И без реваншизма, конечно, не обошлось, когда хочется вернуться в места, где

бывало хуже, чтобы ощутить, как все хорошо теперь.

Купив по пути съестного, Вера угостила присутствующих. Члены Комитета принялись с аппетитом поедать принесенный ею громадный, загроможденный овощами и мясом итальянский мучной круг и быстро разорвали его в клочья, нарушив симметричные надрезы. И только кепочная лениво произнесла, что слишком все это буржуазно для подпольного собрания с социальным подтекстом.

А что именно?

А пицца.

И что же в пицце буржуазного?

А жидовство сплошное и пошлость.

Прежде чем начать всю правду про пиццу вываливать, кепочная умяла порядочный ломоть и, произнося разоблачительное, вычищала ножичком резцы. Прожевав и проглотив, она тотчас стала искать изъяны и в съеденном, и в самой Вере, и чем сильнее насыщение овладевало ею, тем острее она всем своим региональным существом понимала, что Вера глупая, изнеженная, цепляющаяся за жалкий уют, старая уже баба, совершенно недостойная места в будущем, которое она, молодящаяся волчица, вот-вот приблизит.

Остальных она упрекала в потребительском рабстве, склонности к мягкой постели и умышленной неге, а причиной стремительного падения членов повстанческой ячейки оказалась Вера, сманившая стойких бойцов блином, заляпанным гаудой и болгарскими перцами.

Несколько клочковатых типов приняли сторону кепочной, вспыхнула дискуссия.

Один долговязый, с лицом будто сложенным из обглоданных куриных косточек и хрящиков, которого выпитая рюмка наделила уверенностью, принялся Веру трогать. Положил на ее колено пятерню с обкусанными кончиками и спросил денег. За богатую сума-сбродку принял. Так и сказал: дай денег.

На что?

На защиту архитектурных сооружений.

Как планируешь защищать?

Буду издавать газету.

Вера посмотрела в его дымчатые линзы, во влажный рот, рождающий нехитро заплетенные фразы, раскрыла сумочку и протянула все, что при себе имела. Некрупная сумма мелкими и среднего номинала купюрами.

Проситель смутился и стал, хихикая, отказываться. И губы его сверкали.

Тут режиссер потребовал общего внимания. Решил разрядить обстановку, в который раз вспомнив о предках. Извлек пачку столетней давности банковских, железнодорожных и еще каких-то облигаций на баснословную по тем временам сумму. Бумаги эти Вера лично купила ему в подарок, когда в первые дни знакомства гуляли по воскресной барахолке, и вот теперь он, позабыв их происхождение, потрясал пачкой перед носами ошалевших гостей.

Я житель этого города в пятнадцатом поколении и не позволю его разрушать!

А это мое наследство, нынешними деньгами на семь миллиардов!

Долларов!

В ту ночь, оттеснив кепочную, что было делом доблести и чести, Вера на правах хозяйки всех выпроводила и перед тем, как не без торжественности уйти самой, одолжила режиссеру то, от чего отказался влажногубый.



Несколько последующих загородных уик-эндів с лысым обошлись без присутствия малолетних и слились в монолит качественной,

исчерпывающей физиологии. Жарким июльским днем, когда деревянный дом раскалился так, что потрескивал наподобие поленьев в печи, лысый решил ночевать в погребе, небольшом строении, которое и строением-то в полной мере назвать было нельзя, так, холмик с дверцей.

Внутри эта поросшая возвышенность оказалась прохладным хранилищем. Полки прогибались под весом заполненной стеклотары, в которой ждали своего часа лобастые выцветшие огурцы, лопающиеся поблекшие томаты, шишковатые маринованные чесночины, склизкие грибы, варенья тягучие и такие варенья, в которых ягодки отдельно, точно цукаты. Множество овощей и фруктов засоленных, засахаренных и прочими способами приготовленных, за зиму не съеденных, хранились на полках.

Провианту лысый внимание уделял. Точнее, пищеварению.

Кульминацией ежедневного бытия лысого было действие, которое он нежно называл «сходить на горшок». Он любил продукты, любил, чтоб наваристо, сытно и обильно. Но поглощал не ради насыщения или улады, а для

того, чтобы, поев, ловить каждый миг, прислушиваться к накоплению и формированию в кишечнике.

Он был подобен томящемуся сластолюбцу, серферу, выжидающему волну.

Теперь Вера лежала рядом с лысым на брошенном прямо на пол матрасе, под которым шелестел предусмотрительно расстеленный полиэтилен.

— Сам закатываешь? — просипела она, подразуемая консервное изобилие.

— Какой там, братишка шлет, вот у него хозяйство, — протянул лысый с истинно крестьянской скромностью, когда хвастать не зазорно, если прибедняться поспеваешь. — Мне некогда, мать померла, а жена фактически отсутствует.

Он выкурил подряд две, что Вера уже научилась определять как признак умственного труда и принятия нелегкого решения. Ему явно хотелось признаться, сказать что-то самое важное.

— Обещаешь не разболтать? — наконец решился он.

Вера улыбнулась, растрогавшись просьбе, и ощутила к нему такую пронзительную нежность, что испугалась.

— Поднимись-ка.

Он скатал их постель, поддел доски пола.

Разверзшаяся чернота дохнула едва уловимой грибной, мшистой сыростью.

И чем-то звериным. Будто нора открылась.

Пошарив за банками, лысый щелкнул тумблером, и дыра осветилась.

Это был колодец глубиной в метр-полтора с укрепленными стенками, за которыми виднелась часть подземного помещения.

Вниз вела крутая лесенка.

— Лезь. Не зарежу.

Нащупав ногой ступеньку, Вера стала спускаться, не веря до конца, что не получит сейчас по голове обухом и не проведет остаток дней на цепи в подземелье, где единственной утехой будут мольбы о смерти.

Благополучно спустившись в прохладную берлогу, она стала осматриваться. Лысый присоединился к ней и, потирая ладонями бока, улыбался. И было чему.

Перед ними открылась просторная, не в пример верхнему погребку, комната. Воздух хоть и отдавал сыростью, но был достаточно свеж. По стенам стояли две, казарменного образца, двухъярусные кровати. Лысый распах-

нул перед Верой дверцы — показалась кладовая с пластиковыми бочками.

— Что бы вы думали? — спросил он с загадочностью фокусника.

Бочки оказались полны круп, макарон, сухофруктов, орехов и прочей годной для продолжительного хранения бакалеей. В небольшой цистерне с водой глухо перекачивалось.

— Чурбанов на рынке потряс маленько. С них не убудет, — объяснил лысый происхождение запасов.

Канистры с топливом, спички, свечи, электрические аккумуляторы. Подземелье, помимо комнаты, куда вела лестница, вмещало камбуз с заправленными газовыми баллонами и вентиляционной вытяжкой, санузел с биоемкостью, а главное — колодец, заглянув в который, Вера увидела себя, только темную и силуэтную. Упавшее ведро разбило ее вдребезги, и она разлетелась брызгами и возникла снова в колышущейся глади наполненного до половины, поднимаемого цеповным перекрутом цинка.

— Пять лет рыл! По ночам вытаскивал — и в поле, чтобы соседи не догадались. Ты первая.

Они сидели перед наполненными походными рюмками и взрезанным консервным железом. Отдышавшись после сорокаградусного глотка, Вера осмелела.

— Зачем?

Он только и ждал. Угробивший пять лет на рытье и обустройство индивидуальной ямы, ни с кем не делившийся, смиряющий в себе триумф обрел наконец слушателя. И не кого-нибудь. Центровая, видная баба, натуральная светло-русая, им укрощенная, сидела напротив в его ношенной футболке с праздника газеты «МК» и внимала.

— Готовлюсь.

И стало ему вдруг тяжело. Вползла мыслишка, что вот она институтская, слов много знает, за океаном жила, ему потекает, а как трусы натянет — вон из сердца. Забудет и продаст своим очкастым. Знает он, как такие к его брату, силовика, относятся.

И он повысил голос, совсем, что ли, она дура? Осадил себя и снова сорвался. Пока она по митингам шляется, лодку раскачивает, приближается самый что ни на есть апокалипсис...

Увяз в слове, грохнул кулаком, выругался.

— Вы воду сейчас намутите, ил подымете, а ил этот, грязь и вас, и всю страну утопит! Видела, как чурки на Красной площади скачут?! Русских еще поискать!

И он заговорил.

Мигранты, ползущие с низа политической карты, были для него вшами, которые, если их не давить, скоро заполнят всю страну. Стену с пулеметными вышками надо строить, пока не поздно.

Стоит уточнить, что эти взгляды не мешали лысому попустительствовать. Несколько раз ему приходилось закрывать уголовные производства в отношении отдельных этнических лиц и целых групп. Такое случалось, когда диаспоры медлили, не успевали договориться с полицейскими сразу после поимки, и заводилось дело. Тогда для прекращения требовались силы куда более влиятельные, чем райотдел, и обращались к разным следакам, в том числе к нему, и он разговаривал хоть и властно, но уважительно, и мятые банкноты, часто со следами подметок по кавказской свадебной традиции, брал и пересчитывал, а иначе как, сын-инвалид, дача, убежище, обновление запасов. А однажды какие-то упор-

ные менты честных из себя корчили, и он им пригрозил. Мол, самих завтра закроют. И те менты сломались, и подношение приняли, и подношение это он присвоил. Короче, брал и ненавидел, на грядущую борьбу с ними же брал. От Вериного вопроса в нем поднялась обида уличенного, которого никто, кроме него самого, не уличал.

— Ты и такие, как ты, свалят, а я тут останусь, партизанить. Ну-ка, встань.

Вера поднялась с ящика. Лысый откинул крышку. В масляных тряпках покорно ждали прикладная рамка, затвор, коробчатый магазин, пружина, цевье, ствол и прочие огнестрельные составляющие.

Он ловко собрал ощеренную штуку, углами и ребрами похожую на задиристого черного терьера, и сунул Вере.

Она приняла оружие неловко. Держала на растопыренных ладонях, как держат каравай девушки, изображающие местные традиции.

— Сними с предохранителя. На меня не наводи. Упри в плечо. Целься в ту банку.

— Там же огурцы.

— Заменяем.

Вера прицелилась и правым указательным надавила.

Щелчок и его смех.

— Не заряжен! — загоготал хозяин чертога. — Что я, дурак, соления портить. Отдай.

Он отобрал гладкоствол, завернул, захлопнул, велел ей сесть.

— А я тоже запасы для конца света купила, — призналась Вера. — Рыбных консервов набрала. Пришла домой и все сразу съела. Жор напал. Начала с печени трески, представляешь, никогда не пробовала. Потом тунец — давно не ела. Потом шпроты — детство вспомнить. Так и умяла весь запас в один вечер. Правда и купила-то пять банок всего. Первое время продержаться.

Лысый слушал молча и вдруг разразился.

— Все из-за вас, из-за баб. Рожать не хотите. Вот чего ты ждешь? Почти сорок, а ты все мужиков примеряешь. Вы, бабы, о будущем не думаете, а когда чурки вас в балахоны оденут, поздно будет.

Вышла пауза, и неожиданно для себя Вера метнула:

— Хочу ребенка. От тебя. Сына.

И повторила контрольно:

— Сделай мне сына, пожалуйста.

Все бочки, банки и ящики затяжелели массой в его взгляде. И Вера впервые заметила, какое обиженное у лысого лицо. Будто весь мир ему не угодил.

— Дура. Какой ребенок, конец скоро.

И он стал разъяснять — люди ничего не понимают, не чтят традиций, здесь должно быть язычество, а его искоренили, а в язычестве сила. Все американских фильмов насмотрелись и на свадьбах теперь рисом бросаются, и похищение невесты одновременно, и шаферы, и венчание, и арочка цветочная, и загс, и Вечный огонь. Обряды перепутаны, и страшный механизм запущен, и ничего не исправить, и кто-то специально узел этот затягивает, а узел рванет, потому что нитроглицерином пропитан, который при сжатии, как известно, детонирует.

— Думаешь, я лысый? — спросил он, оставив за крутым виражом тему перепутанности традиций, заговора и грядущей катастрофы.

— Чего молчишь? Думаешь, волосенки выпали? Я не лысый! Поняла? Я бритый!

Он схватил Верину ладонь и прижал к своей голове. Гладкая кожа на макушке, щетина

на висках. Частью лыс, а частью и вправду брит.

Согласно его теории, в будущем все будут без волос, в процессе эволюции люди теряют волосы и, достигнув абсолютных духовно-нравственных высот, утратят их совершенно. Волосы остались у дикарей, потому что они только что с гор. А безволосые — высшая раса.

Последнее шло вразрез с его же утверждениями о собственной бритости, но Вера решила этот теоретический недочет не выявлять. Он еще что-то говорил про будущее, про Россию, томящуюся под игом, про то, что Москва — Третий Рим, и совсем засыпал ее содержимым своих душевных и умственных закоулков. А вообще хватит с него малолетних, со своими не знает, что делать, и если от души, то она ему немного того, надоела, покладистая больно. Одевается непривлекательно, себя не блюдет, вначале старалась, а как его захомувала, запустилась. Смотреть не на что, хоть бы губы, что ли, накрасила. Хоть бы завела себе кого.

Он ставил Вере в укор ее послушание, то, что она, выполняя его же условия, сделалась слишком скромна, слишком покорна и вызывающе, отталкивающе верна.

Хоть бы завела кого.

Толкая ее этими словами, предлагая другому, лысый снимал с себя ответственность, желая быть, что называется, свободным. Иметь маневр, превратить ее неверность в монету, которая позволит в случае чего от нее же откупиться.

Им завладел страх перед ясностью и, в конечном счете, смертью. Потому что, сделав выбор, признаешь путь, а любой путь ведет в одном направлении. И лысый отчаянно надеялся, что, вихляя и мечась, обманет смерть. Обьюлит.

В город возвращались молча. Он изредка ругался, перебирая меридианы радиоприемника, который заполнял автомобильную капсулу звуками FM-диапазона. Только раз он заговорил с ней, буркнув, что надо заправиться, а то встанем, он ее катать не обязан, на нем двое мелких и бывшая.

Вера протянула купюру, он вырвал презрительно, долго пропадавал в недрах заправки и вернулся жуя, а ей ничего не купил.

Расставаясь, она спросила, пойдут ли они в следующую субботу в кино, как планировали. Он не отвечал и только чиркал зажигалкой,

которая все никак не могла высечь пламени. Чирканье сделалось нестерпимым, и Вера выскочила на тротуар.

Идя по коридору своего этажа, Вера увидела в стекле дальней, ведущей на черную лестницу двери, лицо. Недвижное, в совершенном безлюдье за ней наблюдающее. Нездешний холод тотчас затопил пространство, все щелочки и Веру целиком. Влекомая ужасом, она приблизилась, но никого за стеклом не обнаружила, только мебельный хлам, который издалека приняла за человеческие очертания.



Вера будто рассматривала в себе новое, в разговоре с лысым произвольно высказанное. Она вдруг очень захотела быть оплодотворенной. Раньше готовилась забеременеть от банкира, но то было желание скорее рациональное. Рождение ребенка воспринималось ею как естественное продолжение многолетней связи. Теперь все обстояло иначе. Что-то неподконтрольное, хаотичное владело ею. Кто ей нужен, мужчина или ребенок? Женщина может привыкнуть к любому мужчине,

из любого может извлечь пользу и негу. А вот ребенок... Мальчик или девочка, светленький, как она, или потемнее...

Рассеянно прокручивая почту, Вера заметила письмо из отделения для неизлечимых. По американской традиции она уделяла время благотворительности и была подписана на новости профильных организаций: в одни отдавала ношеную одежду, в другие, во времена недостатка, жертвовала наличные. Отделению для неизлечимых она тоже время от времени оказывала помощь — развозила обеды для нуждающихся.

Теперь она читала про молодую совсем девушку, лет тридцати, лежит с четвертой стадией, и одна у нее печаль — волос после химиотерапии совсем не осталось.

Перечитав и усвоив каждое слово, Вера хорошенько помыла голову и отправилась в парикмахерскую.

Всей суммы на покупку у нее не было, и потому в тот же день она передала переливающийся ком собственных кудрей постижеру, накинула кое-что из кошелька и получила взамен роскошный, из натуральных волос ее цвета парик, который и понесла умирающей.

Поселенцы палаты хоть и виднелись еще на поверхности жизни, но погружались стремительно, уходя в вечную бездну, неизбежную и такую пугающую для тех, кто еще держится на плаву. Искомая особа покоилась под слоями одеял на стандартной, казавшейся громадной койке и была так похожа на сухой листик, что не каждый смог бы ее обнаружить среди простыней и подушек. Вера подумала, что ни один журнал не согласился бы опубликовать фотографию этой девушки — товарной привлекательности в ней совершенно не осталось. Можно было бы отметить особенные глаза, познавшие боль, огромные и прекрасные, но глаза были мутной водой.

Вера села на край, сняла с желтой головы шапочку и надела поверх редких клочков парик. Осчастливленная не подавала признаков жизни и только появление некоторой сфокусированности во взгляде, когда Вера поднесла зеркало, выдало наличие в этом существе мысли.

Парик не украсил ее, напротив, только подчеркнул тень смерти, которая заволакивала несчастную. Вера вдруг испытала такую боль от этой очевидности, что едва не сорва-

ла свой подарок, чтобы скомкать, упрятать, сжечь. Избавить и ее, и себя от невыносимого сравнения.

Но тонкая рука высунулась из-под одеяла и потянулась к Вере. Вера склонилась навстречу, и скелетные пальцы тронули мягкий ежик на ее виске. И коричневые губы растянулись в насмешливой улыбке.

И Вера эти губы поцеловала.

Покинув здание больницы, она несколько раз глубоко вдохнула показавшийся удивительно свежим городской воздух и сплюнула.



Как любой наголо остриженный человек, Вера то и дело ощупывала и поглаживала макушку, но это занятие недолго развлекало ее — скоро она снова не знала, куда себя деть, как распорядиться вернувшимся одиночеством. Она думала о девушке, для которой постриглась. Стоило ли ради чьих-то последних часов лишать себя шевелюры, жива ли девушка, а если скончалась, то чью голову теперь парик венчает? Однажды Верин взгляд упал на то место в стене.

Она отодвинула стеллаж, которым закрыла проход в нищу комнату.

Толкнула дверь.

Вошла.

Янтарный свет лился сквозь шторы. По стенам висели фотографии, гравюры и картины, которых она в прошлый раз не заметила. На фотографиях старинных и относительно недавних были изображены неизвестные взрослые и дети, группами и поодиночке. Картины и гравюры изображали горные и равнинные пейзажи с романтическими замками и селениями. Кроме платяного шкафа стоял и книжный, полный томов.

Вера решила прибраться, принялась протирать вертикальные и горизонтальные поверхности, выступы и ниши, а заодно разглядывала вещи. Стекла фотографий повизгивали под тряпкой, книги хрустели склеенными страницами. Самое интересное ждало в гардеробе, где на полке, над вешалкой со старыми пальто и шубами в чехлах лежал комок пушистого натурального парика.

Покончив с уборкой, Вера примерила находку. Парик выглядел новым, ненаошным, неприязни не будил и так напоминал соб-

ственные состриженные, что Вера решила его не снимать, зная, что от меланхолии нет средства лучше, чем переодевание.

Она не стала задвигать проход в нищую комнату и бродила теперь по просторам расширившейся жилплощади. Наверняка соседи судачат, особенно та старуха, которая по выходным нянчит внучку. И та молодая, которая недавно спросила: «Правда, у меня живот совсем не видно?» — и добавила с гордостью: «Пятый месяц, а никто еще не заметил!»

Все, небось, строят догадки, почему без мужика, почему до сих пор не свила гнездо, не снесла яйцо, не отложила человеческую личинку. Почему плетется в хвосте женских масс.

Что с ней не так?

Бойтся передать страшный наследственный недуг?

Бесплодна в результате преждевременного порочного опыта?

Не способна зачать, выносить, родить?

Невесть что принято думать об одиноких и бездетных.

Она надела купленные на рынке, по настоянию лысого, туфли. Левый жал. В спеш-

ке, когда она копалась в примерочной, а он вспыллил, торговец спугал пары, а может, специально подложил. Раньше надеть повода не было, только теперь обнаружила.

Превозмогая, она отправилась к месту службы лысого, чтобы поджидать у проходной.

Добиралась общественным транспортом, автомобильная страховка истекла, неоплаченных штрафов накопилось на минимальную пенсию. Недавно она удирала от гаишника задним ходом по встречке, оцарапала дверь и теперь решила не рисковать. Поезд подкатил к нужной станции, за стеклом, превращаясь из смазанной массы в различные фрагменты, замедлялось сплошное азиатское лицо. Створки разъехались, и она, беленькая, стала проталкиваться. Азия пропускала неохотно, перетирала, перекаtywала и заполнила вагон вместо нее.

Натирая левую, стараясь держаться прямо, доцокала.

Она стояла среди просителей и приглашенных. Он появился в компании коллег, но ее не увидел. Не притворился, это всегда понятно, а именно не увидел, хотя прошел ря-

дом, а она не решилась окликнуть, двинулась вслед и вдруг передумала.

Сделался вечер, Вера хромала без всякого определенного направления и обнаружила себя возле храма, где отец когда-то прислуживал алтарником. Ворота были распахнуты, и она увидела батюшку, сходящего со ступеней в сопровождении налитого телохранителя. Батюшка был обернут в золотой конвертик фелони и напоминал конфетку.

Поджидавшие, чулочно-платочные, завидя батюшку, бросились лобызать выпростанные краткие персты, свидетельствующие, по уверениям хиромантов, о деловом складе. Налитой теснил, а батюшка вгрузился в кожаный салон лазурно-синего эксклюзива на моторе в триста восемьдесят две лошадки, и чулочно-платочные бросились на вздутый, словно насосавшаяся пиявка, корпус, прикладываясь и подталкивая вперед малолеток, и на пыльной эмали отпечатывались многочисленные оттиски шепчущих «благослови» губ.

Боль свалилась на Веру в одно мгновение. Она сорвала туфлю с истертой ступни и отшвырнула. Сняла вторую. Стащила добропо-

рядочные рукава и набрала семь цифр и код региона перед ними.

– Привет, надо встретиться.

– Сегодня у меня акция, давай на следующей неделе, – в трубке раздалось режиссерское хрумканье.

– Очень хочу тебя видеть.

Хрумканье замедлилось и прекратилось – он задумался, отер усы.

– Ладно, приезжай. Поможешь.

– Я скоро! – не сдержала радости Вера.

Такси вывезло ее к набережной, где уткнулось в затор напротив брусчатого подъема Васильевского спуска.

Вера подумала, что и спуск, и вся Красная площадь похожи на ящера, который когда-то прогневил Бога, и тот решил его прихлопнуть. Кремль бухнул – одну перепончатую лапу придавил, ГУМом другую, Василием Блаженным хвост, Историческим музеем хотел башку разможжить, не вышло, Мавзолеем – промахнулся. Тяжелые предметы кончились, ящер изогнулся, замер, теперь выжидает, копит силы и однажды стряхнет непременно всю архитектурную мишуру и вообще все стряхнет.

У двери подъезда Вера позвонила. За спиной, курлыкая непонятное, прошли трое из обслуживающего, временно зарегистрированного сословия. Затылком, спиной, задом ощутила их голод. Протяжное тонкое гудение возвестило — путь свободен. Дернула дверь, вбежала.

Долго не открывал.

Наконец шаги.

Поворот ключа.

Бросилась на шею.

Он жевал жвачку. Перемалывал целый ком. Обнял ее невнимательно и воровато огляделся. Никого, кроме Веры, не увидев, натянул на голову шапку с прорезью для глаз.

— Снимай, — сунул ей камеру.

Она навела объектив.

— Снимаешь?

— Снимаю.

— Мы, бойцы... — он запнулся, поняв, что соседка может услышать, потащил Веру в свою комнату, начал заново шепотом:

— Мы, бойцы фронта защиты истории, объявляем войну зарвавшимся девелоперам и алчным чинушам! Мы больше не будем подавать петиции и выходить на митинги! Мы

будем уничтожать вас физически, как вы уничтожаете наш город! Сняла?

Просмотрев запись, они сделали еще несколько дублей, пока не получился хоть как-то его удовлетворивший. Они прокрались из квартиры, вышли под открытое небо, огляделись.

— Ну, с богом, снимай, — наказал он, перекрестился, плюнул через плечо и, приседая, будто под пулями, пошел. Перебежав клумбу, он приблизился к экскаватору, стоящему перед строительным забором.

Вера следила за его перемещением сквозь окошко видеоконтроля. Только сейчас она обратила внимание, что вокруг старого особняка, притаившегося во дворе, появилось ограждение с вывеской «реконструкция». Она знала, что означает такая реконструкция — домик обречен.

Режиссер, настоящий милитант, повозился с дверцей кабины экскаватора и скоро, никем не замеченный, вернулся.

Они отступили в его комнату.

— Все! — сказал он, стащив маску, обнажив пышущее радостным возбуждением лицо.

И вырвал у Веры камеру.

— Убери, меня могут узнать!

Вера осмелилась спросить:

— Что ты сделал?

— Первая акция!

— А что именно?

— Залепил жвачкой скважину дверцы.

Утром никто не сможет открыть, и работы останятся.

Он плюхнулся на разобранную постель. Рядом кособочилась коричневая этажерка, уставленная початыми сосудами, грязными рюмками, бокалами и фаянсом. Из-за многократно проливаемых напитков полки этажерки, покрытые кружочками и кляксами, липли не хуже ленты для мух. Внимание привлекали несколько заткнутых тряпками бутылок. Их наличие объясняло стоящий в комнате запах горюче-смазочных.

— Готовимся к противостоянию, — пояснил борец.

Повсюду были рассыпаны крошки и мелкий сор. Переполненные пепельницы попадались так же часто, как в иных домах попадают букеты свежих цветов. В недавнем прошлом Вера несколько раз пыталась навести здесь по-

рядок, оттирала и вытряхивала, но обитатель быстро приводил все в прежнее запустение.

— Чаю? — поинтересовался режиссер, усадив гостью рядом с собой на кровать.

Вера кивнула. Он выискал две показавшиеся наиболее чистыми емкости, плеснул коньяку, подал ей.

— За встречу.

Она сделала вид, что отпила, и притворно поперхнулась. В другой раз она бы обязательно помыла чашки, но теперь решила не нагнетать, ведь этот вечер может стать началом новой жизни.

Девять с половиной месяцев.

Маленький человек.

Он или она.

Лучше он.

Будет расти, капризничать, радовать. Будет помогать ей, жалеть ее, спасать. И всех остальных. Люди такие несчастные.

— Мы готовим акции по всему городу, — выдохнул режиссер после глотка. — Сразу на всех стройплощадках, где сноят памятники архитектуры. Ой...

Глазами, полными ужаса, он посмотрел на свой телефон, лежавший рядом. Схватил его, вскрыл, извлек аккумулятор.

— Дай мобильник!

Вера протянула свой. Он нервно вырвал, начал ковырять.

— Не открывается!

— А зачем?

— Надо полностью вырубить аппарат, иначе могут прослушать.

— Меня?

— И тебя тоже. Они ведь знают, что мы общаемся.

— Кто?

— Я уверен, в последнее время за нами следят: читают, слушают, — шипел начинающий подпольщик.

Так и не справившись с расчленением Вериного устройства для приема и передачи, он сунул его себе под зад.

— Когда я на улице по телефону говорю, то рот прикрываю, чтобы по губам не прочитали.

Он показал, как ладонь помогает сохранить тайну диалога.

— У нас серьезная организация. То, что ты видела, — только вершина айсберга.

Вера знала, что его сексуальная пригодность зависит от барометра самооценки. Если режиссер ощущал прочность собствен-

ного авторитета, выслушивал комплименты по поводу балета или срывал громкое одобрение соратников, то становился достаточно бодр и даже игрив. В случае невнимания окружающих, появления яркого конкурента в борьбе с застройщиками или обнаружения в почтовом ящике квитанции на оплату задолженности по ЖКХ, режиссер мрачнел, усы его увядали, и сам он валялся в постели, уткнувшись в стену, и на любой вопрос отвечал истеричным воплем. Его настроение легко регулировалось в сторону «ясное» и «хорошее» при помощи двух-трех комплиментов. К своим годам Вера уяснила — когда имеешь дело с мужчиной, лести много не бывает.

— Отлично выглядишь! Рубашечка новая.

— Подарили, — самодовольно расплылся режиссер, и стало ясно, что некая новая дамочка обивает его порог. Уж не кепочная ли? Впрочем, вряд ли.

— И загар, — продолжила подмечать Вера.

— Открыл для себя тональный крем, — простодушно признался режиссер, и Вера наигранно удивилась.

— Лидер должен внушать уважение не только словом и делом, но и внешним видом, — сообщил режиссер.

— У тебя получается, — нежно мурлыкнула Вера. — Слушай... — она набрала побольше воздуха. — Помнишь, ты говорил, что любишь детей...

Он издал неопределенный звук.

— Мне от тебя ничего не надо! Только сперма! — с неожиданной для самой себя ясностью заявила Вера.

И рассмеялась.

— Ты можешь не участвовать в воспитании. Даже хорошо, если ты не будешь участвовать...

— Как это не участвовать? Я же отец как-никак. Папаша!

— Ты мне очень нравишься, я хочу родить от тебя. Мне уже... — Вера замешкалась. Она не помнила, сообщала ли свой возраст. — Мне почти... короче говоря, пора принимать решение.

После ее поспешно поданного замысла, после паузы, за тем следовавшей, принялся рассуждать он, неожиданно проявив деловую хватку, которой раньше не наблюдалось.

— Я не могу разбрасываться собственным... хм... семенем... ничего не бывает просто так.

— Я оплачу. Чтобы все было честно, по закону равновесия. Ты мне, я тебе.

— По закону равновесия, говоришь... — он задумался, выдвинул ящик тумбочки, достал самую пухлую пачку старинных акций.

— Разбирал тут бабкины бумаги. Если бы не революция, я бы в золоте купался.

— Милый, я хочу продлить твой род.

— Вон что затеяла, — забубнил потенциальный отец.

Тревога, сомнение и подозрение прокатились резвой тройкой по его лицу.

— Чего ты испугался?

— Я не испугался.

— Просто хочу, чтобы ты кончил в меня, и все.

— Что значит «кончил, и все»? Это же... а предохраняться... а инфекции... — перекинув руку через плечо, он почесался.

Вера поспешила помочь, так и заскребла.

— Милый, ну какие инфекции?

Она гладила его спину, от которой исходила нарастающая спесь.

— Ты вертишь.

— Просто пришло время. Хочу ребенка. От тебя. Можно?

— Только не психуй.

— Я не психую.

— Ты на взводе! Звонишь вдруг, врываешься. Это... это... это серьезное дело. Это ответственность, — он вспомнил рассуждения, слышанные по телевизору, и стал цитировать. — Надо все взвесить, пройти обследование, сдать анализы. О детях надо заботиться, няня, школьная форма, учеба, приданое. Я так не могу! Надо, в конце концов, себя сначала познать, а потом детей делать. А я пока себя не познал. Я, может, в ополченцы скоро пойду, русский мир защищать!

Понимая, что все это мужское познание самого себя не означает ничего, кроме желания отвертеться, Вера дружелюбно повторила, что все заботы возьмет на себя, что от него ничего не понадобится, но за ее американской улыбкой внимательный наблюдатель смог бы разглядеть отчаяние.

— Хочу ребенка, похожего на тебя. С бородой, с твоими глазами, чтобы такой же нос...

— Опять намеки!

— Какие намеки?

— Сама знаешь!

— Ничего не знаю.

— Глаза, нос!

Догадавшись, что режиссер принял ее комплименты за камень в огород своей нацпринадлежности, Вера улыбнулась.

— Опять за свое! — вскрикнул режиссер, забыв о прослушке.

Все портреты предков, миллионные акции, выдуманная родословная, все это разбивалось о какой-то пустяковый, впрочем, не маленький, но всего лишь нос.

— Не обижайся, хочешь, на колени встану? — пускай шутливо, но она и в самом деле опустилась на пол. — Хочешь, бычок съем? — полезла в пепельницу.

И вдруг режиссер толкнул Веру.

Ему понравилось, как ее грудная кость бухнула под его коленом, как рассыпались окурки. Он толкнул еще.

— Опять за свое, — приговаривал он, запиная Веру в мебельную щель.

Опять за свое.

Кулаком.

Вышло неловко, костяшки сбил о зубы.

Еще коленом. Вера согнулась, парик сполз. Заметив волосяную накладку, режиссер усмехнулся, намотал и, в восторге от собственной

выдумки, держа Верину голову левой, уже не подвергая опасности правую, махнул хорошенько по ее красивому симметричному лицу.

Вера обнимала его ноги.

Красная капля из брови, разбитый рот и хрипы пробудили у него аппетит. Он задрал, разорвал и приник урчащим рылом к... нет, на этот раз не к ногам, а к беззащитным, предназначенным для нежных ласк, интимным Вериным сокровищам.

Трудно доподлинно определить, что испытывала Вера, поэтому неясно, от чего она захлебывалась и скулила: от удовольствия, от грусти по испорченным новым колготкам или просто от сбивших дыхание ударов. Про распаленного же бородача можно сказать, что он был всем доволен, себя успевал дергать, а потому скоро выдоил несколько хаотичных, тут же смешавшихся с грязью на полу капель.

Отершись париком, он приладил его обратно на Веру, а капли тапкой резиновой растер.

— Не обижайся, сама виновата, знаешь, на меня давить нельзя. Давай, синяк замажу, — он взял тюбик тонального крема и принялся наносить на распухающее Верино лицо.

И Вера сделалась сама из себя изъятый. Увидела себя сверху, с луны, обрезок которой не первую ночь таял на тефлоне неба. Сорокалетняя, красивая, со свободным английским, лежит побитая, расхристанная на неопрятной койке в тускло освещенном углу, где только что умоляла кончить в себя.

Но самое грустное во всем этом было то, что его язык оказался первым языком, коснувшимся ее в том самом месте.

Она вырвала из его рта сигарету, ткнула в фитиль первой попавшейся под руку зажигательной бутылки и грохнула об пол.

Он зажмурился и поджал ноги.

Бутылка не разбилась, фитиль воспламенился нехотя. Вера смотрела и ждала. Фитиль сгорел почти целиком, бутылка зашипела, пукнула и, подгоняемая вялыми газами, поползла под кровать, где уткнулась в угол, в пыль и затихла навсегда.



Вера находилась в том состоянии, когда силы оставили, существуешь инерционным жизненным движением и в повседневности не

участвуешь. Она вдыхала и выдыхала, переживала и глотала, иногда, впрочем, забывая, просыпалась все позже, засыпала с каждым днем все раньше — стараясь сократить осмысленное проживание дней. Визит к режиссеру стоил ей нижнего бокового резца, и наскрести на стоматолога не получалось. Попыток сжить себя со света она больше не предпринимала скорее из общей своей пассивности, чем из привязанности к окружающей среде.

Зато снова виделась с Наташей. Та спроводила сыновей в летний лагерь и наслаждалась свободой, которую реализовывала в салонах ухода за телом. Она настояла на встрече, Вера не сопротивлялась. Наташа поволокла ее в парк, усмехнулась парикю, подметила кусатель-но-жевательную прореху, тараторила о муже и мальчишках, а в укромном уголке придвинула неожиданно Веру к березе и прижала свои усовершенствованные губы к ее натуральным. А потом заговорила.

Борец с лицом убийцы застучал ее с халем, простил, но с условием — она родит третьего. И, о чудо! Оказалось, врачи тогда ошиблись, поставили на ней крест, а теперь что — беременность протекает нормально.

Наташа даже плащик распахнула и предъявила облагороженный ультрафиолетом, в упор мигнувший диамантом из пупка живот.

Вера не сразу услышала ее слова. А когда наконец дошло, поморщилась и одновременно набухла как-то, как бывает с непьющими после рюмки. Начала хватать ртом, хлюпать, и Наташа не без радости разобрала слово — предательница.

Наташа рассмеялась по-доброму, всепрощающе так, обняла Веру за плечо, прижала, как родную. Вера твердила про измену подружки, Наташа же обнимала все крепче. Наконец Вера оттолкнула Наташу, и посыпались на Наташу слова, которых от Веры никак нельзя было ожидать. И про то, что уродина и выползла невесть откуда, про мужа-преступника и мерзких сыновей, про безвкусицу быта и еще про что-то, в чем Вера сама заблудилась, споткнулась, буквы рассыпались, и отчетливые звуки слились в рыдание.

Наташа же с каждым новым Вериным выпадом хорошела и через какие-то секунды достигла такой прелести, что все ее косметологи диву бы дались. И когда Вера запнулась и залилась слезами, Наташа подождала немно-

го, а потом сказала, что совсем на Веру не обижается, прощает и, кстати, про своего отчима она тогда пошутила. Он ее и пальцем не трогал, заботился, в кружок водил, а потом ей сюда копейки сэкономленные присылал, пока не помер.



Скудные средства шли на убыль, искусственные лохмы Вера больше не снимала, посуду не мыла. Впрочем, особенной нужды в этом не было — из-за недостатка средств Вера почти ничего не ела. К счастью, аппетит сокращался вместе со сбережениями.

Рефлекторно, без интереса прокручивая свиток сетевой хроники, она обнаружила еще одну Веру.

Точно такая, но не она.

Фотография, как у нее, фактически ее фотография. Имя совпадает и прочее. Но главное, что ее собственные заметки и картинки ничем не отличались от заметок и картинок той, другой.

Вера решила виду не показывать, притаилась.

И та притаилась.

Но однажды Вера настоящая получила от Веры поддельной бредовое, бессмысленное и оттого совершенно жуткое послание.

«Хорошего мужика найти трудно. Надо себя не уважать. Я не лысый. Скоро всему конец. Добрался хорошо. Желая вам счастливо здесь жить. Трусы тоже. Одна беременная была и того. Очень одаренный мальчик».

Вера удалила все свои картинки, и та удалила.

Вера вытравила о себе все, и той след простыл.

Избавившись от подозрительной слежки, она подолгу сидела в ничьей комнате, вглядывалась в дебри обойного узора, в фотографические лица, в корешки книг, в слои древесного спила на дверцах шкафа.

Инъекция того дня, когда впервые увидела дверь, сработала. По ней стало расползаться, заполнило клубком, щекотало, перебирало, владело ею. Она уносилась в далекие, смутные миры, где нет ни полных сомнения осеменителей, ни блистающих повышенной всхожестью подруг. На свежий воздух выбиралась редко, приборы обесточила, телефонный ак-

кумулятор ослаб и новым электричеством подпитан не был.

Однажды Веру разбудил неприятный шум. Уличный фонарь светил слишком громко. Взяв кошелек, где водительское и ключи с фонариком, она прошла в ничью комнату. Перегоревшую при первом визите лампочку так и не заменила.

Она вытащила из шкафа тряпье, выковыряла кнопки, булавки и гвоздики, крепившие фотографии, завесила окно и дверь, выключила фонарик и осталась в крошечной, безупречной темноте.

Тьма была гостеприимной. Принимала и укутывала.

Вера задремала.

Приснилось, что гуляет с детской коляской и вдруг коляска на что-то наткнулась. Посмотрела, а под колесами ребенок, которому положено находиться в коляске. Она его сапожком отпихнула и дальше покатила. А ребенок как замыкает вслед.

Вера очнулась. Рядом в темноте кто-то ходил.

Пара ног прошла от шкафа к двери, а после в ее сторону и замерла возле.

Впервые за долгие годы Вера стала по памяти говорить, что верует во Единого Бога-Отца, Творца Неба и Земли, видимого и невидимого. Верует во Единого Господа Иисуса Христа, сошедшего с Небес, распятого, страдавшего, погребенного и вознесшегося. Вера повторяла, что верует, верует, верует, и одновременно нащупывала связку ключей с фонарем, не зная, что лучше: увидеть или оставить во мраке. Фонарь отползал от пальцев, но она настигла его и выпустила луч.

И тут же вскочила на кровати в полный рост, вжавшись в стену.

Пыльный пол был покрыт отпечатками разных, больших и маленьких, размера баскетболиста и делающего первые шаги малыша, рифленых и гладких обувных подошв.

Она стала разметывать пыль.

Стала ползать, растирая следы ладонями. Пыль клубилась в скачущем луче. Уничтожив последний отпечаток, Вера поднялась, отряхиваясь и чихая. Настало время проветрить.

Рванула импровизированную занавесь. В том месте, где недавно было окно, теперь стояла капитальная, оклеенная обоями стена, ничем не отличающаяся от соседней.

Вера кинулась к двери, ведущей из ничьей комнаты в ее арендованную.

Дверь на месте.

Дернула.

Заперто.

Толкнула.

Заперто.

Принялась пинать и стучать.

Неужели замок защелкнулся? Не может быть. Это не такой замок. Этот с большим ключом и широкой старомодной скважиной. Он не мог защелкнуться.

Прильнула к скважине.

Темень и едва ощутимый ветерок.

Ночь, поняла Вера и уже собралась отнять глаз, как заметила по ту сторону движение.

Моргнула.

В скважине дрогнуло.

Она отстранилась и посветила.

И поползла прочь от двери, ногами и руками отталкиваясь. Ее трясло, как плохо закрепленную стиральную машину.

Печень на почки, почки на сердце.

Серебряный глаз глядел на нее из скважины.

Ужас наполнил Веру, как гипс, которым помпейские археологи музейным зевакам на потеху заполняют человеческие, оставшиеся в застывшем пепле пустоты. Подвывая, она каталась по комнате, но глаз достигал везде.

Вот бы подскочить к окну, распахнуть и прыгнуть.

А лучше прямо сквозь стекло. Проломить оконные перекладины, избавиться навсегда.

Только окна нет.

Тогда за город, на шоссе.

Стала собирать разбросанные тряпки. Пригодятся. Фонариком светила аккуратно, чтобы с улицы не заметили. Хоть окна нет, а рисковать не стоит.

Протиснулась за шкаф, отодвинув его от стены.

В клиновидном закутке было надежно, но тесно. К задней стенке лепилась покоробившаяся бумажка со штампом фабрики, годом выпуска, номером изделия.

Осветила.

Цифры скакали, ссорились, перестраивались. Четверка подталкивала острой коленкой круглый бок девятки, семерка клевала двойку, римские палочки-галочки дребезжали частоколом. Цифры складывались, становясь

увесистым числом, разбивались в брызги о край дробного столбика. Цифры охамели не случайно, они что-то знали. Они специально выкрутасничали, кривлялись и дразнили.

— Да, я рухлядь! — завопила Вера.

Шкаф был выпущен в год ее рождения, в один день с нею. Он давил на грудь. Халат зацепился за шляпку гвоздя. Она рванулась. Материя затрещала. Шкаф шумно придвинулся к стене.

Перевернула кровать, отыскала на днище наклейку.

Тот же год и день.

На старом пальто бирка из прачечной.

Смятый кассовый чек.

Цифры, цифры, цифры.

Вера погрозила кулачком вокруг себя. Повсюду камеры и микрофоны. Стараясь выглядеть непринужденной, оторвала прозрачную обложку от водительских прав, соскребла фотографию. Теперь никто не догадается, что это она.

Что-то коснулось головы.

Вскрикнула.

Махнула фонарным лучом.

Прямо перед ней покачивался абажур с огрызком взорвавшейся лампочки. Он опу-

скался вместе с потолком. Шкаф полз на нее, стены сдвигались. Страшный скрип и скрежет обрушились на слух.

Под нажимом потолка шкаф хрустнул, боковые стенки и дверцы распались. На макушку надавило.

Склонила голову к плечу. К уху прижалась потолочная штукатурка, до которой еще несколько минут назад не смогла бы допрыгнуть.

Прислушалась к потолку, как к земле прислушиваются.

Нарастающий гул.

Полоснув по стене лучом, высветила новую дверь, которой раньше не замечала. Переставляя собой, будто куклой, приблизилась. Дверь сокращалась вместе с отведенным ей в стене местом. Вера толкнула ее головой и выплонулась из ничьей комнаты.

Потолок и пол тотчас сомкнулись.



Вера обнаружила себя на полу в помещении, напоминающем ее нынешнее место жительства. В окно проникал осенний свет.

Тело ходило ходуном. То голову тряхнет, то колени стукнут, то всю передернет. Под ли-

цом будто бегала мышь. Справившись кое-как с дрыгающимися конечностями, она осторожно выглянула — улица, сквер, карапузы на качелях.

Обследовала место.

Коридорчик. Кухонька. Санузел. В углу святая покровительница. Все, как у нее.

В зеркале опухшие, растертые глаза, царапина на лбу, халат испачкан и порван.

Умылась.

Снова глянув на отражение, отпрянула со вскриком — вместо грудей у нее торчали свиные рыла.

Стуча зубами, стала метаться, ища выход.

Коридор, кухня, опять коридор, дверь.

Вернуться не получается.

Снова дверь.

Вера завопила истошно и злобно, после чего стала издавать отдельные вопли — и было отчего. Прямо перед ней стояла мать.

Прекрасная проходимка, дважды соблаздившая Сулеймана Федоровича, оправила пышные локоны, сняла их с головы и протянула Вере.

И улыбнулась при этом доброжелательно.

Не помня как, Вера вырвалась и вот уже бежала по лестнице от преследующего стука высоких каблуков.

Световой день то ли начинался, то ли подходил к концу. Из густого синяка, расплзающегося метастазами по небу, лил дождь. Каркнула взлетевшая с отбросов ворона. Вера задрапа голову к своему окну на четвертом.

К стеклу прильнуло женское лицо.

Прячась в махровый капюшон, бросилась прочь. Споткнулась, расшибла колено. Пешеходный бетон блестел и выворачивался на сторону, проезжий асфальт гнулся черной змеей.

Животы домов распирало индивидуальным уютом, они едва не лопались от переваривающихся людей и мебели. Того и гляди кирпичные и монолитные пуза прорвутся и стандартный, и перепланированный быт хлынет наружу.

Встречные существа, сплошь мужской породы, пихали Веру, едва не сбивая с ног, роняли вслед гнусности, плевались, чадили потом, куревом, пищеварением. Она пробиралась среди плащей, курток и пиджаков.

Мокрые ткани липли и цеплялись.

Вывески рушились на голову.

Шлюзы светофоров едва сдерживали потоки автомашин.

Провода, звенящие от натяжения, стягивали разъезжающийся по швам улиц город.

Голова чесалась, Вера то и дело засовывала под парик пальцы и яростно скребла.

— Сестра, помоги, чем можешь. Деньги и паспорт украли, ночью на вокзале, — морда обряженного в добротную запачканную одежду смердела.

Вера стала рыться в карманах халата, но обнаружила, что поделиться нечем. Убедившись в ее финансовой немощи, проситель харкнул ей в ноги.

— Попробуй ягодок, — окликнула баба с корзиной. Вся укутанная, краснощекая, будто сидящая на самоваре. — Ягодки сочные, спелые, свежие. Волосы длинные, густые, хорошие. Комнатка теплая, уютная, ничья. Девять полюбишь, десять разлюбишь, с одним останешься.

Вера приблизилась.

— Распоясалась, — приветливо оскалилась баба вставным цветметом. — Блудить пошла! По кругу пошла! А отец кто, знаешь? Как сына назовешь? Халабурдун Билибердоевич?!

Лицо бабы показалось совсем не жирным. Гнусная предпринимательница хорошела на

глазах, это уже была фигуристая девица, во все не красномордая, а просто румяная.

Более того, ее лицо казалось Вере знакомым.

Ее лицо было Вериним.

Вера подмигнула Вере, задрала подол и заговорила:

— Надо себя не уважать. Я не лысый. Ребенок — это ответственность. Скоро всему конец. Очень одаренный мальчик.

Неся околесицу, она вконец обнаглела и стала превращаться в девочку. Вера схватила Веру за патлы.

— Это мои волосы!

Ягоды покатались по асфальту, пожилая собирательница звала на помощь. Вера царапала ей щеки, пытаясь содрать маску.

Кто-то торопился мимо, кто-то глазел. Неравнодушные схватили и поволокли.

Вера вырвалась и побежала, она притихла, только когда забилась в закуток за мусорными баками.



Сколько времени она провела в укрытии, неизвестно, но когда раздались голоса, выговаривающие непонятные, спотыкающиеся,

перекувырнутые слова, она была в забытьи. Мусорные контейнеры один за другим стали откатываться, и вот уже трудовые мигранты в дворницких робах весело рассматривали Веру.

– Спрячьте меня, спрячьте, пожалуйста!

Явился старший, бугай с вислыми усами. Помолчал и велел отвести ее в старый, приговоренный к сносу дом, где на разлинованных хлипкими перегородками некогда просторных квадратных метрах теперь жили семьи одомашненных кочевников. Предки их жгли и рубили, а эти смиренные, летом метут, зимой скребут.

Веру провели кроссвордовым лабиринтом и оставили в комнатухе, шириной и длиной равной трехъярусным, по периметру, нарам.

Толстая женщина притащила и бухнула, расплескав, ведро. Озираясь на дверцу, Вера сняла халат и принялась обтираться. Она не сразу заметила, что в щель подсматривают дети, выдавшие себя пыхтением и шорохом. Увидев замороженные глаза и онемевшие рты, она смутилась, махнула в их сторону, окропила любопытные мордочки, но дети не ушли, а захихикали.

На шум пришлепала толстая, прогнала детей и, оглядев недобро голую Веру, бросила к ее ногам грязный ком.

Пока Вера терла пол, толстая забрала ее халат. Вера сначала крепко держала, а потом выпустила. Чтобы не мерзнуть, зарылась в коврики. Натянула и забылась.

Очнулась от голосов.

Вокруг было полно мужчин. В нескольких она узнала отыскавших ее.

Они громко лопотали, шутливо толкали друг дружку, вели себя, как в раздевалке после физры.

Вера сначала удивлялась, что ее не замечают, а потом поняла, что о ней хорошо помнят, но сейчас заняты другим, и до рассмотрения ее дела еще дойдет.

На полу между нарами установили электроплитку, воздвигли полный казан и скоро стали загребать пальцами и сгружать в разинутые рты.

Наевшись, вытерли руки и заспорили. Когда пришли к согласию, старший стацил с Веры покрывала.

Она держала край, как держала до этого халат, но старший без злости, по-деловому уда-

рил ее по пальцам и драпирующие материи скатал.

Мужчины, которых оказалось больше, чем девять имеющих койко-мест, теснились, разглядывали, вставляли на цыпочки, просовывали колючие темные лики, цокали золотыми ртами.

Вера лежала, как новорожденный ягненок в окружении пастухов, не страдающих вегетарианством.

Множество пальцев сначала несмело, как вступающие в права новые собственники, коснулись ее.

Пальцы перебирали, щупали, шарили, мяли, проникали.

— Я хочу ребенка, — Вера села на кровати. Вокруг засмеялись.

— Сделай мне ребенка! — обратилась Вера к ближайшему.

Тот, смелый, пока она с ним не заговорила, потупился, как двоечник, залыбился, отстранился.

— А ты? — схватила за руку другого.

— Ты? — Вера вскочила, заглядывала в дощатые лица, но они свои глазные прорезы отводили.

— Ну что же вы?! — она стала наступать, разгоняя вздыбленных мужчин. Одного по щеке, другого, третьего. И только седьмой ее руку перехватил.

И посмотрел в ее серебряные своими ржавыми.

И мимика с ее лица исчезла, отчетливые черты разгладились, она стала веществом.

И он запустил пальцы в ее шевелюру, стащил парик, отбросил, крепко взял, заломил, как овечку заламывают, прежде чем по шее полоснуть.

Как отец заломил, когда косички оттяпал.

И пока он, держа ее одной, другой растягивал себя, она вся дрожала, косясь алчущим зрачком.

Утоленного сменил другой. За ним следующий. Вереница темных, иконных тел тянулась к Вере.

Мужчины, тяготимые нарастающим бременем, мяли и сжимали свои дрожащие, пульсирующие, толстые, тонкие, длинные и кочерыжки, точно креветки или лобстеры, гнущиеся обезвоженными садовыми шлангами и стоящие торчком ручками старинных холодильников.

По одному и группами, они содрогались над ней и откатывались обессиленные, чтобы тотчас начать томиться и с заново растущим нетерпением ждать черед причащения этой женщиной. Она ощупывала их мягкие тела, твердые лица, сиреневые губы. Запоминала. Передвигаемая, перемещаемая, умоляющая прекратить и не останавливаться, вырывающаяся и отдающаяся, перекатываемая, как волны перекатывают прибрежный камушек, перебираемая чужими руками, как корни растений перебирали церковь, своим подчинением подчиняющая, ошеломленная никогда не пережитым и теперь переживаемым, приоткрывала губы, хмурилась, прислушиваясь к чужому и своему, прикрыв ставшие ненужными глаза. И когда они, выстроившиеся в ожидании быть допущенными и принести дар, иссякли, она была полна.

Их прикосновения заставляли Веру возникнуть. Она проявлялась, как площадь в итальянском городе Лукка, где долгие годы жители пристраивали к древней арене свои дома, используя камни арены. И однажды обнаружилось, что арены больше нет, зато есть площадь, повторяющая ее форму. С тех пор

арена навсегда присутствует в городе Лукка, и выполнена она из самого долговечного из всех имеющихся материалов, из пустоты и преданий. Так и Вера, прежнюю себя совершенно утратив, возникла из тел коричневых людей заново.

И слезы стали падать из ее глаз. И все, кроважно ею насыщающиеся, скукожились.

— Ты чего? Ты чего? — только и талдычили они, желая приласкать, но не умеющие этого своими руками, приспособленными к нуждам коммунальных служб.

Но Вера плакала не от печали — само потекло.

— Не обращайтесь внимания, — улыбалась она конвульсивно. — Просто очень жалко всех стало.

И она умылась из чайника, а потом каждого водой обтерла. А на самого решительного свой крестик надела, еще отцом вешанный.

Из недр дальних конур, из-за фанерных слоев донесся плач ребенка. Мать утешала его курлыканьем.

Вера свернулась у перегородки, сделанной из фрагментов мебели, и глаза ее встретились с заскорузлой от старого клея этикеткой.

Клеймо, номер изделия.

Цифры не совпадали.

Вера сомкнула веки, отгородившись ими от задней стенки шкафа, который когда-то свел ее родителей, от разлинованной на клетухи, полученной танкистом, расширенной матерью и отцом, захваченной и реализованной фруктовницей, а ныне выселенной под снос жилплощади.

Она заснула без сновидений, подтянув колени к подбородку, как зародыши в брюхе спят, как древние своих мертвецов в земляную постель укладывали.



Еще студенткой, катясь в электричке, Вера видела вблизи ничтожной станции, как вокруг груды мусора с радостным визгом бегают девочки. Она знала, что однажды беззаботная хохотунья проснется несчастной. Собственный уголок в облупленном доме покажется убогой норой, мать — никудышной старухой, двор — не таинственным миром, а свалкой.

Теперь каждый отпадающий от нее мужчина возвращал ее в сад беззаботности и вечности, недоступный разумным и опытным. Она

сбрасывала желание побеждать, обгонять, работать над ошибками, быть сильной и ответственной, пользоваться уважением. С нее осыпались доспехи осторожности, скрытности и недоверчивости. И когда последние пылинки чести, надежды, стремлений и страха отлетели от нее, когда она совсем слилась с коричневыми мужчинами и перестала существовать, она возникла заново и уже навсегда.

Женщины ее невзлюбили и не допускали к ней чад. Мужчины посещали дважды в день после смены. Они рассказывали о семьях, ожидающихся в далеких селениях, о подводе воды на огород летом и отводе зимой, о топке печи навозом, о мясе, специях и прочей национальной кухне, которая там вкуснее, чем здесь.

Мужчины несли ей помидоры, картошку и яблоки. Старший приволок ананас и долго горючил, как воином-интернационалистом красиво сносил краем брони глиняно-каменные, как на родине, жилища, славно повоевал, а потом государство схлопнулось, теперь разнорабочим, недавно назначили бригадиром.

Вера высунулась за дверь. Перед ней разверзся родной подъезд-колодец с лестницей,

вьющейся к заляпанному купольному стеклу неба. На этом пороге, поднявшись по желобу, протертому в каменных ступенях многолетней рекой ног, она когда-то топталась, забыв ключи, а родителей не было дома.

Она стала ходить по закуткам. Нащупывала памятью прежние очертания.

Здесь, под трехъярусными шкапками, была ее комната. Вот и дверной наличник сохранился с отметками роста. Поднявшаяся со дна памяти привычка занесла руку к выключателю.

Щелчок, погасло, щелчок — вспыхнуло.

Галочка раскаленной спирали прилипла к зрению, узкие очи толстой поварихи обожгли.

Здесь спали и ругались родители, сидели на Пасху, мать не в духе, отец шутит.

Здесь жила бабушка, перебирала пальцами пустоту и вся была какая-то набок.

Здесь когда-то стояла ванна. Теперь помывочный резервуар был почему-то удален, стена делилась на грязный, в подтеках, подол и кафельную рубаху, сохранившую белизну.

Пригляделась.

Утенок с оборванным клювом. Вспомнила, как неловко перенесла мокрую переводилку с

бумажной подложки на стену, и кончик под ноготком оборвался.

Вечером Веру навестил всего один посетитель.

Молодой, который, в отличие от прочих, к ней ни разу не прикоснулся.

Сидел на полу, водил пальцами по паркету, а потом сказал, что слои дерева похожи на слои грунта, который они рыли под кабель. Асфальт, осколки, мусор, пучки корней, красная глина.

И Вера подумала, что раскаленное сердце, кипящее в середине Земли, надежно покрыто слоями веков. И чем дольше человек здесь живет, тем больше слоев, тем дальше он от этого сердца.

Молодой отвлек ее — предложил замуж.

Она не стала возражать, что годится в матери, что познакомились не в то время и не в том месте. Сказала, как есть — она не хочет. Он хороший, просто не хочет. Вообще.

Молодой свое предложение повторил, а когда усвоил отказ, потемнел весь, сгустился, хоть и без того не белокожий был, и в таком накаленном настроении подался вон.

Произошел скандал. Старшая сестра жениха, та самая толстуха-повариха, ворвалась к Вере и набросилась, обвиняя на смеси языков в коварстве, колдовстве и соблазнении.

Вера не сопротивлялась, злобную женщину уняли не сразу, мужчины некоторое время с любопытством наблюдали, как повариха Веру треплет.

Негодующая сестра требовала возмездия. Она сулила всем гнев Всевышнего за то, что связались с уличной подстилкой, которая побрезговала ее братом. Она призывала наказать виновную, перечисляя все вышедшие из употребления, ныне практикуемые и ею же сочиненные казни.

Речь возымела действие. Часть мужчин стали переговариваться, что баба, пожалуй, права, они позволили вовлечь себя в неудобную высшим силам связь, и единственным способом искупления может стать справедливая кара, которую они обязаны на предмет искушения обрушить.

Кто-то схватил Веру, кто-то повалил, а кто-то вязал веревкой, придавив коленом, как придавливают парнокопытное, предназначенное на мясо.

На Верином лице, прижатом к тому самому паркету, чьи философско-археологические свойства только что подметил несложившийся муж, нельзя было прочесть ничего, кроме покорности и принятия, и даже какого-то осознания, что будущее ей вполне известно и никаких сюрпризов не таит.

Перед Верой топтались разнообразные ноги. Сношенные туфли безденежных щеголей, подделки под Париж, Милан и Дубай, имитации дорогой спортивной обуви, рабочие боты, облезлый лак на крепких, торчащих из домашних босоножек ногтях толстухи.

Опутав Веру, мужчины и женщины наперебой, как школьные всезнайки, стали предлагать варианты наказания. Побивание камнями, сотня ударов плетью и что-то еще, чего было не разобрать в гомоне перекрикивающих друг друга голосов.

Под гневные крики Веру потащили в пустую разгромленную квартиру на последнем этаже. В ней когда-то жила бабушка с опухшими руками. Она разводила на балконе герань и другие двудольные, постоянно там торчала, то и дело окликаая соседок из своих благоухающих кущ. Теперь и герани, и бабушки след

простыл, а из-под ободранных кое-где обойных завитушек выглядывала газетная героическая жуть ушедшего века.

Веру толкнули на пол и стали суматошно приводить в исполнение все замыслы одновременно. Одни бросали в нее едва початыми, тлеющими сигаретами и мелким подножным сором. Другие стегали ремнями, третьи плевали, толстуха била мухобойкой. Кроме мухобойки, толстуха принесла пластмассовую лоханку, в которой купали детей. В эту лоханку она намеревалась спустить нечистую Верину кровь для последующего ритуального слива в унитаз. Несогласованность в рядах истязателей избавляла Веру от существенных повреждений, но жених уже заострял длинный деревянный брус, и угрозы, которые он рычал под нос, орудуя ножиком, не сулили ничего хорошего.

Вряд ли можно инкриминировать Вериним терзателям какую-то особенную жестокость. Жестокость — осознанный выбор, а эти действовали согласно пусть дикой, пусть подзабытой и отчасти придуманной заново, но традиции. А разве имеем мы право укорять за соблюдение традиций? Кроме того, отдель-

ные люди не должны отвечать за пороки целых народов.

Вера по своей природе мученицей не была и к подобному никогда не стремилась. Она не просила о пощаде и не сопротивлялась потому, что для нее вдруг сам собой разрешился вопрос, тревоживший с детства.

Отец и мать говорили, что Бог повсюду, и это пугало. Вера боялась увидеть Бога под кроватью, на потолке или в шкафу. Ей казалось, что Бог может выскочить сразу со всех сторон со своей любовью и нотациями. Когда Вера повзрослела, страх этого непостижимого всеприсутствия продолжал иногда охватывать ее. В такие минуты она слышала шаги и шорохи, и это ввергало в такие психо-неврологические пучины, из которых удавалось выбраться только при помощи препаратов, отпускаемых по рецепту. Бог походил на одного из незнакомых уличных парней, которые липнут сначала с комплиментами, потом с приставаниями, потом, злясь на ее безразличие, с оскорблениями и угрозами. Теперь же она почувствовала, что Бог наконец отвязался, оставил ее в покое, как отец когда-то привел в школу и отпустил, и дальше она шла сама, а отец смотрел

издалека и улыбался, и она сначала оборачивалась и видела его, а потом уже не видела.

Тут и явился голубь. Врезался в окно.

Видимо, перепутав отраженное небо с натуральным, пернатый бедолага на всем лету треснул башкой, оставив на стекле красную капельку.

Привлеченные ударом, палачи принялись расталкивать друг друга, чтобы рассмотреть сидящую на карнизе птицу.

Голубь спорхнул вниз, в закоулки двора, но его появление не прошло бесследно. Оправившись от испуга, шумно обсуждая событие, изверги засомневались. Тут-то и вмешался старший с усами. Сказал слово. На то он и старший, чтобы вовремя разъяснять не зависящие от него обстоятельства.

Он произнес речь о добре и зле, похожую на те, что произносят в кино чернокожие персонажи — полную банальной мудрости, приправленную неточными цитатами из священных книг.

Он говорил иносказательно и туманно, однако из его слов можно было уяснить — если они не прекратят, то это отразится на их судьбе крайне неблагоприятно. Возмож-

но, этого хочет Он, старший поднял указательный палец вверх, но хотят ли того присутствующие?

Перспектива неподъемного откупа от полиции, изоляции в исправительно-трудовом учреждении, вечной потери временной регистрации, а главное — явление голубя уняли оскорбленные чувства так же быстро, как их пробудили вопли толстухи. После недолгого совещания Веру размотали и, как была в халатике, сунув в карман все, что обнаружили при поимке, выволокли вон и сказали, чтоб шла.

Как уличным привязчивым собакам говорят.

Иди, мол, иди. Нас благодарить не надо.

А один, неприметный, задержался, отстал от своих и полтинник смятый бросил. На билетик.

Вера подождала немного, расправилась и пошла мимо домов и деревьев.



Люди не замечали ее.

Увидев осколки автомобильной аварии, она подобрала отражающий фрагмент.

В этих малых, неправильной формы зеркальных сантиметрах умещалась она вся: ступни, лодыжки, икры, колени, бедра, живот, грудь, руки, шея, голова, нос, губы, уши, серебряные глаза, волосы.

Только парика не было.

Добралась благополучно. Знала, что двери в ничью комнату больше нет.

И ее не было.

У всего есть последнее место, и никогда не знаешь, где оно. Заезжает машина во двор и оттуда уже никуда. Хозяин заболел, запылится кузов, осела колесами. Ночной смельчак выбил боковое, и вот, почувяв подранка, ее рвут, фаршируют пустой тарой и окурками взамен вывороченных сидений. Так и у людей, они вкатываются в больничные палаты, гостиничные номера, виллы и халупы, чтобы никогда больше их не покинуть.

За время проживания в снятом на одиннадцать месяцев пристанище Вера не раз с отчаянием думала — здесь ее конец. Теперь ей стало все равно.

Она подошла к окну. Повсюду была вода. Она покрыла бугры усадеб и углы панельных, все малоэтажное и небоскрежное зодчество. Кресты и звезды поблескивали из глубин.

Родившись сорок лет назад, Вера поплыла сверкающим айсбергом. Истаивала, топя корабли и служа пристанищем пингвинам. Теперь от нее не осталось ничего. Собой она затопила мир, раскинулась гладью и стала концом всего, и началом всего, и прохладой.

Не любовь, единая участь с городом снизошла на Веру. Она дернула створки и впустила осенний простор. Простор заполнил помещение, ее саму и человеческую загогулину, распускающуюся в ней.

Земля подставляла Солнцу другой бок, погружая Веру в ночь. Вера поворачивалась вместе с Землей в бесконечном пространстве, и небо накатывало на нее.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ: ПРОЗА О ЛЮБВИ И БОЛИ

Снегирёв Александр

ВЕРА

Ответственный редактор *О. Аминова*

Младший редактор *А. Семенова*

Художественный редактор *П. Петров*

Технический редактор *Г. Романова*

Компьютерная верстка *Л. Панина*

Корректор *Т. Бородоченкова*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 08.12.2015. Формат 75x100 1/32.

Гарнитура «NewBaskerville». Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,5.

Доп. тираж 6000 экз. Заказ 9237.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж
International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.**

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2115/2117/2118; 411-68-99, доб. 2762/1234.

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса:

142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Станки, 243А.

Тел.: (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».

Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.

Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».

Тел.: +38-044-2909944.

Полный ассортимент продукции Издательства «Э»

можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».

Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.

Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,

Невский пр-т, д. 46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14.

ISBN 978-5-699-81666-8



9 785699 816668 >



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА

КНИГИ

Юрия БУЙДЫ

ЮРИЙ БУЙДА

Вор, шпион и убийца



открытие
издательства
«Gallimard»
финалист
«Букера»
и «Ясной
Поляны!»



Книги
оформлены картинками
пражского художника Eugene Ivanov

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА

*Лабиринт непредсказуемых подтекстов для избранных,
открытых безграничному разнообразию опытов жизни.
Уникальное соединение концептуализма Виктора Пелевина
и саговой манерой Людмилы Улицкой!*

0000-017

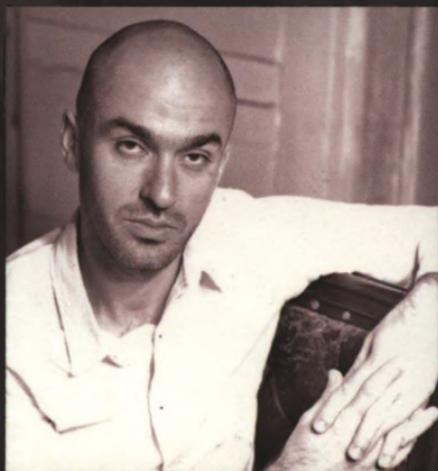
Высокий стиль. Проза

ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ

Со страниц её книг ритмично дышит сама жизнь
во всех её проявлениях...



Ирина Муравьёва доказала: высокий стиль актуален.
Он покоряет сердца и обостряет чувство подлинной жизни!



Прозу Александра Снегирёва, при всем ее жанрово-тематическом разнообразии, не спутаешь ни с чьей. Драматичная, честная, чувственная. И всегда неожиданная. Его читают женщины и мужчины, студенты и пенсионеры, интеллигенты и шахтеры. Одни называют его героев подонками, другие – лицами поколения.

**АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ –
ПРОЗА О ЛЮБВИ И БОЛИ**

WWW.FACEBOOK.COM/ALEXANDER.SNEGIREV.1

В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-метафора А. Снегирёва ставит перед нами актуальные вопросы.

«Платоновская Москва Честнова – женское воплощение витально-сексуального духа революции – вполне могла быть прабабушкой героини Снегирёва Веры, которая вместила в себя все символы времени уже нового, наставшего...»

– К. ДРУГОВЕЙКО

«Роман Снегирёва – это картина Босха с большой дозой иронии. Та картинка, в которой придется жить начерно женщине, лишенной любви. Женщине, человеку и человечеству».

– МИТЯ САМОЙЛОВ

ISBN 978-5-699-81666-8



9 785699 816668 >

